

Анатоль Франс

На белом камне

Ты спал как будто на белом камне среди призрачного народа. Филопатрис XXI

I

НЕСКОЛЬКО французов, связанных дружбой, про водили весну в Риме и часто, встречались на раскопках Форума. То были Жозефин Леклерк, атташе посольства в отпуску, доктор филологии Губэн, комментатор Николь Ланжелье, принадлежащий к старинной фамилии парижских Ланжелье, типографов и гуманистов, Жан Буайи, инженер, и Ипполит Дюфрен, обладавший досугом и любовью к искусству.

Первого мая, около пяти часов вечера, они, по обыкновению, прошли сквозь маленькую, неизвестную публике дверь на северной стороне, где руководитель раскопками командор Джаакомо Бони, принял их с присущей ему молчаливой любезностью и проводил до порога своего замененного лаврами, бирючиной и ракитником, деревянного дома, который возвышался над огромной выемкой вырытой прошлым столетием от слоя почвы папского воловьего рынка до поверхности древнего Рима.

Там они останавливаются и осматриваются.

Прямо перед ними возвышаются обезглавленные остовы почетных стел[1], а на месте базилики Юлия виднеется как бы большая шашечная доска с шашками.

Южнее три колонны храма Диоскуров купают в небесной лазури свои голубеющие завитки. Справа, поднимаясь над развалинами арки Септимия Севера и над высокими колодками обиталища Сатурна, дома христианского Рима и женская больница, расположенная на Капитолии, громоздили свои фасады желтее и грязнее вод Тибра. Слева поднимается Палатам, охваченный большими красными арками и увенчанный дубовой листвою, а у мог их выросли из земли стены и мраморные основания, — остатки зданий, в дни латинской мощи покрывавших Форум по сторонам плит Священного пути, такого же узкого, как деревенская улица. Клевер, овес и тюлевые травы, посеянные ветром на их низких вершинах, образовали их убогую крышу, где рдеют цветы полевого мака. Обломки упавших карнизов, множество колонн и алтарей, нагромождение ступеней и оград, — все это имело характер, конечно, не мелкого, но сдержанного приземистого величия. Николь Ланжелье, несомненно, восстанавливает мысленно сонм памятников, некогда теснившихся на этом прославленном пространстве.

— Эти здания, — сказал он, — построенные в мудрых пропорциях и умеренных размерах, отделялись друг от друга тенистыми переулками. — Там, среди храмов, славные правнуки Рема, послушав ораторов, находили прохладный угол для еды и сна, где дурно пахло, где арбузные корки и обломки ракушек не выметались никогда. Разумеется, лавочки, окаймлявшие площадь, выделяли крепкий запах чеснока, вина, жира и сыра. Мясные лавки

были нагружены мясом; приятное зрелище для здоровых граждан; и у одного из этих мясников Виргиний взял нож, чтобы убить свою дочь. Без сомнения, были тут ювелиры и торговцы маленькими домашними божками, хранителями очага, хлеба и сада. Все, что было нужно гражданам для жизни, соединялось на этой площади. Рынок и магазины, базилики (иначе говоря, товарные биржи и гражданские суды); курия, этот городской совет, который в последствии управлял миром; тюрьма, подземелье которой испускало ужасающую вонь; храмы, алтари — первая необходимость итальянцев, которым всегда есть чего просить у небесного могущества.

Наконец, именно здесь совершались на протяжении столетий поступки пошлые или своеобразные, почти всегда безвкусные, часто отвратительные или смешные, и иногда великие, совокупность которых составляет божественную жизнь народа.

— Что это там, среди площади, перед основаниями для памятников? — спросил Губэн, который, вооружившись своим биноклем, заметил на древнем Форуме нечто новое и хотел получить разъяснение. Жозефин Леклерк любезно ответил ему, что это фундамент колосса Домициана, недавно обнаруженный. Потом он по очереди указал пальцем памятники, открытые Джакомо Бони в продолжении пяти лет плодотворных раскопок: фонтан и колодец Ютурны на палатинском холме; воздвигнутый на месте погребения Цезаря алтарь, цоколь которого покоился у их ног перед рострами; древняя стела и легендарная могила Ромула, которую покрывал черный камень из Комиции, и «озеро» Курция. Солнце, опускаясь за Капитолий, пронизывало своими последними стрелами триумфальную арку Тита на Верхней Веллии. Белая луна всплыла на западной части неба, но оно оставалось голубым, как среди дня: тень ровная, спокойная, ясная наполняла Форум молчанием. Загорелые землекопы взрывали кирками каменную ниву, а их товарищи, продолжая работу древних царей, вращали колесо колодца, поставляя воду, и поныне орошавшую ложе, где дремал осененный камышами Волабр, в дни благочестивого Нумы. Они исполняли свой труд старательно и со вниманием. Ипполит Дюфрен а течение многих месяцев видевший, как усердию они работали, как быстро и толково выполняли полученные распоряжения, спросил у руководителя, чем он добился этого.

— Живя, как они, — ответил Джакомо Бони, — я разгребаю с ними землю, я сообщаю им о том, чего мы совместно ищем, я заставил их почувствовать красоту нашей простой работы, величие которой они смутно чувствуют. Я видел, как они бледнели от волнения, раскапывая могилу Ромула. Я их ежедневный товарищ, и если кому-нибудь из них случается захворать, я сажусь у его постели. Я рассчитываю на них, а они рассчитывают на меня, — вот почему я имею верных работников.

— Бони, мой дорогой Бони! — вскричал Жозефин Леклерк. — Вы знаете, как я восхищен вашими работами и как волнуют меня ваши чудесные открытия, и все-таки, разрешите мне сказать, я сожалею о времени, когда на погребенном Форуме паслись стада, когда белый бык, с рогами, расходящимися над широким лбом, пережевывал жвачку на этом пустынном поле, а пастух засыпал у подножья высокой колонны, выходившей из земли, и можно было мечтать: здесь некогда вершились судьбы мира. С тех пор, как Форум перестал быть коровьим пастбищем, он потерян для поэтов и влюбленных.

Жан Буайи указал, насколько эти раскопки, произведенные методически, способствуют познанию прошлого и разговор зашел о философии римской истории.

Латиняне были рассудительны, — сказал он, — даже в своей религии: они почитали богов Ограниченных, простых, но полных здравого смысла и иногда замечательных. Когда сравнишь Римский Пантеон, составленный из военных судей, девственниц и матрон, с чертовщиной, нарисованной на стенах этрусских гробниц, — видишь сопоставление разума и безумия. Адские сцены, начертанные на усыпальницах Корнето, изображают чудовищ, порожденных невежеством и страхом. Они нам кажутся такими же нелепыми, как и

«Страшный Суд» Орканьи в церкви Санта-Мария-Новелла, или Дантовский ад Пизанского Кампо-Санто, тогда как Латинский Пантеон неизменно представлял собою образ благоустроенного общества. Боги римлян, подобно своим почитателям, были трудолюбивыми, хорошими гражданами. Это были полезные боги: каждый выполнял определенную функцию. Нимфы — и те занимали у них гражданские и политические должности. Вспомните Ютурну, алтарь которой мы видели столько раз у подножия Палатина. По своему рождению, приключениям и несчастью, она, казалось, не была предназначена занимать постоянную должность в городе Ромула. Это была негодующая рутулка[2]. Любимая Юпитером, она получила от бога бессмертие. Когда царь Тури, по воле судьбы, был убит Энеем, она, не успев умереть одновременно с братом, бросилась в Тибр, чтобы, по крайней мере, убежать от дневного света. И еще долго пастухи Лациума рассказывали историю тоскующей нимфы, жившей в глубине реки. Позднее, жителям сельского Рима казалось, что, склоняясь ночью над крутым берегом, они видели ее при лунном свете среди камышей, в покрывале цвета морской воды. И что ж? Римляне не оставили ее праздною при всех ее скорбях. Им немедленно пришла мысль приискать ей серьезное занятие, и они вверили ей охрану своих фонтанов, Они сделали ее муниципальной богиней. Так обстоит дело и с прочими их божествами. Диоскуров, двух братьев Елены, от храма которых остались такие прекрасные развалины, эти ясные звезды, римляне приспособили в качестве государственных гонцов. И Диоскуры явились в Рим на белых конях сообщить о победе у Регильского озера. Итальянцы просили у своих богов только земных благ и надежных выгод. В этом отношении, вопреки всем азиатским ужасам, наводнившим Европу, их религиозные чувства не изменились. То, чего они требовали прежде, от своих богов и гениев, они ждут сегодня от мадонны и святых.

Каждый приход обладает собственным угодником, заваленным поручениями не хуже депутата. Имеются святые для виноградника, для зерна, для скота, для реви в животе, для зубной боли. Латинское воображение опять населило небеса множеством подвижных образов и превратило еврейский монотеизм в новое многобожье. Оно расцветило евангелие богатой мифологией. Оно восстановило дружественные отношения между божеским и земным миром. Крестьяне требуют чудес от своих святых покровителей и ругают их последними словами, если чудо запаздывает. Крестьянин, который тщетно испрашивал милость младенца, возвращается в часовню и обращается на этот раз к царице небесной: «Не тебе, девкин сын, говорю, а твоей святой матери». Женщины вмешивают божью мать в свои любовные шашни. Они резонно рассуждают, что она женщина, знает, в чем дело, и стесняться с ней не приходится. Они не боятся никогда быть нескромными, что только доказывает их набожность. Вот почему надо восхищаться молитвой, с которой обратилась к мадонне красивая девушка с генуэзского побережья.

«Пресвятая мать божия, ты, зачавшая без греха, разреши мне согрешить без зачатия...»

Затем Николь Ланжелье высказал мнение, что религия римлян подчинялась их политике.

— Отмеченная резко национальным характером, — сказал он, — она, несмотря на это, способна была проникать к другим и завоевывать их своим духом общительности и терпимости. Это была религия управления, которая без труда распространялась вслед за управлением.

— Римляне любили войну, — сказал Губан, тщательно избегавший парадоксов.

— Они не любили войну саму по себе, — возразил Жан Буайи, они были для этого слишком умными. Легко установить по некоторым признакам, что военным ремеслом они тяготились. Господин Мишель Бреаль вам скажет, что слово, которое вначале значило: солдатская амуниция — *aequipa*, впоследствии приняло смысл усталости, подавленности, нищеты, страдания, испытания и отчаяния. То были крестьяне, как крестьяне: они шли воевать не иначе, как по принуждению. И сами их начальники, крупные помещики, воевали не ради

удовольствия и славы. Раньше чем итти воевать, они раз двадцать соображали свои интересы и внимательно взвешивали свои шансы на успех.

— Без сомнения, — сказал господин Губэн, — но их положение и состояние мира заставляли их вечно пребывать на военном положении. Так они и пронесли культуру до самых окраин известного им света. Война — несравненное орудие прогресса.

— Латиняне, — заговорил Жан Буайи, — были землепашцы и вели войну землепашцев. Их честолюбие носило всегда земледельческий характер. Они требовали у побежденных не денег, а земли — всей или части территории покоренных племен, чаще всего треть ее, из дружбы, как они говорили, и потому, что они были умеренными. Где легионер: воткнул свою пику, на другой день пахарь уже шел за плугом. Свои завоевания они закрепляли пахарями. Они были солдатами, несомненно, удивительными, дисциплинированными, терпеливыми, храбрыми, которые били сами и давали себя бить, как и всякие другие. Крестьянами еще более изумительными. Если дивиться тому, как они завоевали столько земли, нужно еще более удивляться тому, как они ее сохранили. Чудо в том, что эти упрямые мужики, проиграв много битв, можно сказать, ни разу не уступили и десятины земли.

В то время, как они беседовали таким образом, Джакомо Бони недружелюбно поглядывал на высокий кирпичный дом, поднимающийся к северу от Форума на ряде фундаментов старинных надстроек.

— Сейчас нам предстоит, — сказал он, — исследовать курию Юлия. Мы скоро сможем, надеюсь, снести гнусную постройку, которая покрывает эти останки. Государству будет не обременительно купить его на слом.

На глубине девяти метров йод земель, которая поддерживает монастырь святого Адриана, покоются плиты Диоклетиана, последнего реставратора курии. В мусоре мы найдем, конечно, много мраморных таблиц, на которых вырезаны законы. Необходимо, для Рима, для Италии, для всего мира, чтобы памятники римского Сената были вновь выведены на свет божий.

Потом он пригласил друзей в свою хижину, гостеприимную и безыскусственную, как дом Эвандра. Она состояла из единственной залы, где помещался стол из некрашеного дерева, нагруженный черной посудой и бесформенными обломками, пахнувшими землей.

— Доисторические, — вздохнул Жозефин Леклерк. — Итак, дорогой Джакомо Бони, вам недостаточно искать в глубине Форума памятников императоров, республики и царей. Вы углубляетесь теперь в почву, которая носила исчезнувшую флору и фауну. Вы роетесь в четвертичном, в третичном пластах, вы проникаете в плеоценовый, миоценовый, эоценовый период. От археологии латинской вы переходите к археологии доисторической и к палеонтологии. В салонах уже обеспокоены тем, до какой глубины вы дойдете. Графиня Назолини не представляет себе, где вы остановитесь, а в сатирической газетке изображено, как вы выходите через страну антиподов и вздыхаете: теперь наладилось... (Aclesso va bene).

Бони, казалось, не слышал, он рассматривал с глубоким вниманием глиняный сосуд, еще сырой и грязный. Его ясные и переменчивые глаза темнели, когда он выискивал на этом убогом человеческом изделии какой-нибудь еще незамеченный знак таинственного прошлого. И они вновь делались бледно-голубыми, уходя в мечту.

— Останки, которые вы видите здесь, — сказал он наконец, — эти маленькие гробики из неотесанного дерева, эти урны из черной глины, имеющие форму хижин и содержащие обугленные кости, найдены под храмом Фаустины в северо-западном углу Форума.

Рядом с черными урнами, полными пепла, находят и скелеты, спящие в своих гробах, как в постели. Греки и римляне применяли одновременно и погребение и сожжение. Во времена,

предшествовавшие истории, по всей Европе одинаково следовали обоим обычаям в одном и том же городе, в одно и то же время. Соответствуют ли эти разновидности погребения двум расам, двум мировоззрениям? Думаю, что так.

Почтительным, почти обрядовым жестом он взял в руки сосуд, имевший форму хижины и содержащий немного пепла.

— Те, — сказал он, — которые в незапамятные времена обрабатывали так глину, думали, что душа, привязанная к костям и пеплу, нуждается в жилище, но что бы жить там сократившейся жизнью мертвых, ей не нужно большого дома. То были люди благородной расы, выходцы из Азии, Тот, чей легкий прах я поднимаю сейчас, жил прежде времен Эвандра и пастуха Фаустула.

И он прибавил шутливо, говоря по образцу древних:

— В те дни царь Итал, или Витул, царь-Телец, мирно властвовал над этой страной, уготованной к славе, В те дни по земле Авзонийской простирались однообразные царства стад. В те дни люди не были ни грубыми, ни невежественными. Они унаследовали от предков своих много драгоценных познаний. Им были известны и корабль и весла. Они знали искусство подчинять быка ярму и впрягать его в дышло. По воле своей они зажигали божественный огонь. Они добывали соль, обрабатывали золото, лепили и обжигали глиняные сосуды. Несомненно, они начинали обрабатывать и землю. Рассказывают, что Латинские пастухи сделались землепашцами в легендарное царствование Тельца. Они возделывали просо, ячмень и пшеницу. Они сшивали шкуры костяными иглами. Они ткали и, быть может, умели окрашивать шерсть в различные цвета. Они измеряли время по фазам луны. Они созерцали небо и познавали в нем землю. Они видели на нем борзую собаку, которая охраняла звездные стада хозяина Диоспитера. В плодородных тучах они видели скот солнца, кормилиц-коров голубых равнин. Они обожали небо, отца своего, и свою мать — землю. А по вечерам они слышали, как повозки богов-кочевников, подобных им, попирали цельными колесами горные тропинки. Они любили дневной свет и с грустью думали о жизни душ в царстве теней. Мы знаем, эти широкоголовые арийцы были белокурами, потому что боги их, сотворенные по образу их, белокуры. Индра имел волосы, подобные колосьям ржи, и бороду, как тигровая шкура. Греки представляли себе бессмертных богов с голубыми или зелеными глазами и с волосами цвета золота. Богиня Рима была рыжей и белой (*flava et candida*). По римским преданиям, Ромул и Рем имели желтые кудри.

Если бы было можно восстановить эти обугленные кости, вы увидели бы перед собой чистые арийские формы. В этих широких, крепких черепах, в этих головах, квадратных, как первый Рим, основанный их сыновьями, вы узнали бы предков патрициев республики, могучий корень, долгое время поставлявший трибунов, первосвященников и консулов, вы бы могли коснуться превосходного вместилища этих крепких мозгов, которые создали религию, семью, армию и общественное право города, организованного крепче всех других, известных до и после него.

Медленно поставив глиняную урну на грубый стол, Джакомо Бони склонился над гробом величиною с люльку, гробом, выдолбленный из дубовой колоды и напоминающим своей формой первые челноки человека. Он приподнял тонкую стенку коры и мязги, покрывавшую эту погребальную лодочку, и показал косточки, хрупкие, как птичий скелет. От туловища остался только спинной хребет, и могло казаться, что здесь лежало одно из наиболее скромных позвоночных, например, большая ящерица, если бы выпуклость лба не обличала человека. Цветные бусы рассыпанного ожерелья покрывали темные кости, омытые подземными водами и облепленные жирной землей.

— Взгляните теперь, — сказал Бони, — на этого маленького ребенка, который не был сожжен с почетом, но зарыт и целиком возвращен земле, из которой он вышел. Он не был сыном

вождей, благородным наследником белокурых людей. Он принадлежал к туземной расе Средиземного побережья, которая стала римским плебсом и поныне еще снабжает Италию тонкими адвокатами и счетчиками. Он родился в Палатинском городе Семи Холмов в эпоху, скрытую от нас наслоениями героических легенд. Этот ребенок принадлежит эпохе Ромула. В те времена Долина Семи Холмов представляла собою болото, а Палатин был покрыт только тростниковыми хижинами. Маленькое копье было положено на гроб в знак того, что ребенок мужского пола. Ему было не более четырех лет, когда он уснул сном мертвых. Тогда его мать застегнула на нем красивую тунику и окружила его шею ожерельем из бус. Соплеменники не оставили его без даров. Они положили на его могилу молоко, в сосудах из черной глины, бобы и гроздья винограда. Я нашел эти вазы и сделал подобные им из той же земли на огне костра, сожженного ночью на Форуме. Прежде чем проститься с ним, они вместе выпили и съели часть принесенных яств, и эта погребальная трапеза заставила их позабыть свое горе. Младенец, спящий со дней бога Квирина! Империя пронеслась над твоим простеньким гробиком, и те же звезды, которые сверкали при твоём рождении, зажгутся сейчас над нашими головами. Неизмеримая бездна, отделяющая твои дни от наших, — лишь неразличимый миг в жизни вселенной.

После минутного молчания Николь Ланжелье сказал:

— По большей части в народе так же трудно различить расы, его составившие, как и проследить в течении реки притоки, в нее влившиеся. И что такое раса? Существуют ли человеческие расы в действительности? Я вижу, что существуют люди белые, красные и черные. Но это не расы, это только разновидности одной и той же расы, одного и того же рода, совершающие между собою плодотворные союзы и непрерывно смешивающиеся. Ученые с еще большим основанием отказываются признавать множественность желтых и белых рас. Но люди измышляют расы в угоду своей гордости, ненависти или алчности.

В 1871 году Франция была расчленена в силу прав германской расы. Германской расы нет. Антисемиты разжигают против еврейской расы ярость христианских народов, а еврейской расы нет.

— То что я говорю, Бони, это чисто отвлеченное умозрение, и я не имею в виду вам противоречить. Да и как вам не верить? Убеждение живет на ваших губах, и вы сочетаете в своем уме широкие научные истины с глубокими истинами поэзии. Вы утверждаете, что пастухи, пришедшие из Бактрии, населяли Грецию и Италию, вы утверждаете, что они нашли там старожилы. У итальянцев и эллинов в древности существовала общее поверие о том, как первые люди, населявшие их страну, подобно Эрехтею, родились из земли. И я не стану оспаривать, дорогой Бони, что вы можете проследить, сквозь века, первобытных жителей Авзонии я переселенцев, пришедших с Памира, и в одних, — полных доблести и чести патрициев, в других же — изобретательных и речистых плебеев. Потому что, если, строго говоря, и не существует различных человеческих рас, а тем более различных белых рас, то, с другой стороны, можно с уверенностью отметить в нашей породе ясные различия, иногда весьма характерные. Если так, то ничего нет особенного в том, что две или несколько разновидностей жили бок-о-бок, долгое время не смешиваясь между собою и сохраняя свой личный характер. И иногда эти различия, вместо того, чтобы сгладиться под влиянием усилий природы, наоборот, с течением времени, под властью незыблемых обычаев и под давлением общественных условий могут выделяться с каждым веком сильнее.

— Истинная правда (*e proprio vero*), — пробормотал Бони, покрывая дубовой покрывалом ребенка эпохи Ромула.

Потом он предложил гостям стулья и обратился к Николу Ланжелье:

— Теперь вам следует одержать ваше обещание и прочесть ту историю Галлиона, которую я видел, как вы писали в вашей комнатке, на улице Форо Трояно.

В ней вы заставляете говорить римлян. Ее приличествует слушать здесь, в углу Форума перед Священной дорогой, между Капитолием и Палатином. Торопитесь, чтобы не быть прерванным сумерками и из опасения, что ваш голос скоро не сможет заглушить крик птиц, оповещающих друг друга о приближении ночи.

Гости Джакомо Бони приветствовали эти слова ропотом одобрения. Николь Ланжелье, не ожидая более настоятельных просьб, развернул рукопись и прочел нижеследующее:

## II

### ГАЛЛИОН

В 804 году с основания Рима и на тринадцатом году царствования Клавдия Цезаря, Юний Анней Новат был проконсулом Ахайи. Происходя из семьи всадников, выходцев из Испании, сын ритора Сенеки и добродетельной Гельвии, брат Аннея Мелы и знаменитого Люция Аннея, он носил имя своего приемного отца, ритора Галлиона, изгнанного Тиверием. В жилах его матери текла кровь Цицерона, и от своего отца, вместе с несметными богатствами, он унаследовал любовь к эпистолярному стилю и философии. Он читал работы греческих авторов еще более старательно, чем писание авторов латинских. Благородное беспокойство волновало его ум. Он интересовался физикой и еще тем, что к ней добавляют [3]. Деятельность его разума была настолько живой, что, даже принимая ванну, он слушал чтение и непрестанно носил собой, даже на охоте, свой стилос и восковые таблицы. На досуге, который умел найти даже среди обширной деятельности и наиболее важных забот, он писал книги по вопросам естествознания и сочинял трагедии. Клиенты и вольноотпущенники хвалили его за мягкость обращения. У него был действительно благожелательный характер. Никогда не видели, чтоб он предавался гневу. Он считал жестокость и вспыльчивость слабостью самой худшей и наименее простительной. Он испытывал отвращение ко всякой жестокости, если ее истинный характер не ускользал от него вследствие давности обычая или авторитета общественного мнения. И все-таки часто в суровости, освященной обычаями предков и санкционированной законом, он открывал отвратительные крайности, против которых восставал и которые попытался бы уничтожить, не противопоставляя ему другие со всех сторон интересы государства и общественного спокойствия. В ту эпоху добрые судья и честные чиновники не были редкостью в империи. Среди них, конечно, нашлись бы люди, столь же честные и справедливые, как Галлион, но вряд ли в ком-либо другом встретилось бы столько человечности.

Получив в управление Грецию, уже лишенную своих богатств, потерявшую славу и, после буйной свободы, впавшую в спокойную праздность, он помнил, что в давние времена она просветила мир мудростью и искусством, и его поведение в отношении к ней объединяло бдительность опекуна с сыновнею почтительностью. Он уважал независимость городов и права личные. Он почитал тех, кто были настоящими греками по рождению и воспитанию, сожалея только о том, что встречает их в таком малом количестве, и что ему приходится: по большей части применять свою власть к презренной толпе евреев и сирийцев, оставаясь, во всяком случае, справедливым к этим азиатам и не вменяя этого себе в подвиг добродетели. Его резиденцией был Коринф, город наиболее богатый и наиболее населенный во всей римской Греции. Его вилла, построенная во времена Августа, увеличенная и разукрашенная с тех пор его предшественниками — проконсулами, последовательно управлявшими этой провинцией, поднималась на крайних склонах Западного Акрокоринфа, мохнатая макушка которого была увенчана храмом Венеры и рощей иеродулов[4]. Это был дом достаточно просторный, окруженный садами со статуями, нишами гимназиями[5], банями, библиотеками и алтарями, посвященными богам.

Однажды утром он, по своему обыкновению, прогуливался в них со своим братом Аннеем

Мелой, беседуя о законах природы и о превратностях судьбы. На розовом небе всходило влажное и чистое солнце. Мягкая волнообразная линия истмийских холмов скрывала от глаз саронийский берег, стадион, святилище игр и кенхрейский порт, расположенный на востоке. Но между рыжеватыми боками Геранийских гор и розовым двуглавым Геликоном можно было видеть, как спит голубое море Альцион. Вдали к северу сверкали три снежных вершины Парнаса. У ног их, на широком плоскогорье, покрытом бледным песком и мягко склоненном к пенистым берегам залива, покоился Коринф. Плиты Форума, колонны базилики, уступы цирка, белые ступени пропилей блестели, а золоченые кровли храмов искрились молниями. Обширный и новый город был пересечен прямыми улицами. Широкая дорога спускалась к Лехейской гавани, окаймленной складами и покрытой судами. На западе земля была загрязнена копотью кузниц и черными ручьями красилен, а на другой стороне еловый лес тянулся до самого горизонта и там сливался с небом. Понемногу город проснулся. Резкое ржание лошади прорезало утренний воздух, и послышались глухой шум колес, крики возниц и пение торговок зеленью. Старые слепые женщины, ведомые детьми, выйдя из своих лачуг сквозь развалины Сизифова дворца, с медными урнами на головах шли набрать воды пиренского источника. На плоских крышах домов; тянувшихся вдоль садов проконсула, коринфянки развешивали белье для сушки, и одна из них била своего ребенка стеблями порея. На глубокой дороге, поднимавшейся к Акрополю, полуголый старик стегал по заду своего ослика, беззубым ртом напевая себе в жесткую бороду песню рабов:

Работай ослик,

Как я работал,

И это тебе пригодится,

Можешь не сомневаться.

Между тем вид города, возобновляющего свой ежедневный труд, заставил Галлиона подумать о том первом Коринфе, красавце Ионии, богатом и веселом до дня, когда он увидел, как солдаты Муммия истребляют его граждан, как его женщин, благородных дочерей Сизифа, продают с молотка, жгут его дворцы и храмы, валят его стены, а богатства громоздят на консульские либурины.

— Менее ста лет назад, — сказал он, — последствия работы Муммия сохранялись еще полностью. Берег, который ты видишь, о, брат мой, был пустынее Ливийских песков. Божественный Юлий восстановил город, разрушенный нашими войсками, и заселил его вольноотпущенниками. На отмели, где славные бакхиады красовались в своей гордой лени, расположились бедные и грубые латиняне, и Корниф начал возрождаться. Он быстро разросся и сумел извлечь выгоду из своего положения. Он обложил данью все суда, приходящие с Востока и Запада и останавливающиеся в Лехейской или Кенхрейской гавани. Его население и богатства не перестают увеличиваться по милости римского мира.

— Каких только благодеяний не излила империя на мир. Благодаря ей города и села наслаждаются глубоким покоем. Моря очищены от пиратов, а дороги — от разбойников. От туманного океана до Пермулийского залива, от Гадеса и до Ефрата торговля товарами протекает в ничем не омрачаемой безопасности. Закон защищает жизнь и благосостояние каждого. Права каждого охранены от посягательств. Отныне свобода знает только те пределы, которые служат чертой ее же обороны, и ограничена только для собственной безопасности. Справедливость и разум правят вселенной.

Анней Мела не искал почестей, подобно двум своим братьям. Те, кто его любил, а таких было



много, так как он обладал неизменно приветливым обращением и крайним благодушием, относили его удаление от дел к умеренности характера, увлеченного спокойной безвестностью, и избегавшего других забот, кроме изучения философии. Но более холодным наблюдателям казалось, что он, по-своему, честолюбив и стремится, подобно Меценату, оставаясь простым римским всадником, достичь консульской власти. Наконец некоторые недоброжелательные умы различали в нем свойственную Сенекам алчность к тем самым богатствам, которые он притворно презирал, и они объясняли этим долгое и безвестное проживание Мелы в Бетике, совершенно поглощенного управлением своих обширных владений, а также то, что, вызванный впоследствии своим братом философом в Рим, он принял на себя заведывание государственной казной, вместо того, чтобы домогаться высших судебных или военных должностей. Судить о характере его по разговорам было нелегко, потому что он применял язык стоиков, одинаково пригодный, как для сокрытия человеческих слабостей, так и для обнаружения величия души.

В те времена говорить добродетельные речи считалось хорошим тоном. Несомненно, что Мела, по крайней мере, мыслил возвышенно.

Он ответил брату, что, не будучи, подобно ему, посвящен в общественные дела, он привык восхищаться могуществом и мудростью римлян.

— Свойства эти, — сказал он, — проникают до самой глубины нашей Испании. Но лучше всего я почувствовал благодетельное величие империи в одном диком ущелии Фессалийских гор. Я отбыл из Ипатии, города, славного своими сырами и колдуньями, и уже 4 часа, как я ехал по горе, не встречая лица человеческого. Измученный усталостью и жарой, я привязал моего коня к дереву, несколько удаленному от дороги, и разлегся под кустом ежевики.

Так отдыхал я в продолжении нескольких мгновений, когда увидел худого старика, нагруженного вязанкой Хвороста и согбенного тяжестью ноши. Выбившись из сил, он покачнулся и, готовый упасть, воскликнул: «Цезарь!» Услыхав, как это восклицание сорвалось с губ бедного дровосека среди скалистой пустыни, сердце мое наполнилось глубоким уважением к Риму-покровителю, который в самых отдаленных странах внушает самым диким душам представление царственного могущества. Но к моему восхищению, брат мой, примешались печаль и тревога, когда я подумал о том, какому ущербу и какому поношению грозят подвергнуться и наследство Августа и судьба Рима из-за людского безумия и пороков этого века.

— Мне случалось близко видеть, брат мой, — ответил ему Галлион, — те преступления и пороки, которые тебя огорчают. Заседая в сенате, я бледнел под взглядом жертв Кая. Я молчал, не отчаиваясь в том, что доживу до лучших дней. Я полагаю, что добрые граждане должны служить республике и при дурных правителях, вместо того, чтобы уходить от своих обязанностей путем бесполезной смерти.

Пока Галлион говорил эти слова, два еще молодых человека в тогах приблизились к нему. Один из них был Луций Кассий, из старинного и заслуженного, хотя и плебейского рода, римский уроженец, другой — Марк Лоллий, сын и внук консулов и, во всяком случае, из семьи всадников, выходцев города Террацины. Оба они посещали афинские школы и приобрели в них такие познания в области законов природы, которым римляне, не бывшие в Греции, оставались совершенно чужды. В то время они обучались в Коринфе управлению общественными делами, и проконсул держал их около себя, как украшение своего суда.

Немного позади их, одетый в короткий плащ философа, с лысым лбом и с бородою, какую носил Сократ, медленно шел грек Аполлодор и рассуждал сам с собой, подняв руку и шевеля пальцами.

Галлион оказал всем троим благосклонный прием.

— Уже побледнели розы утра, — сказал он, — и солнце начало метать свои палящие стрелы. Придите друзья! Эта тень прольет на вас прохладу.

И он повел их вдоль ручья, журчанье которого навевало спокойные мысли, до круглой куртины из молодых зеленеющих деревьев, где находился алебастровый бассейн, полный прозрачной воды, по которой скользило перо горлицы, только что искупавшейся в ней и сейчас жалобно ворковавшей в листве. Они уселись на мраморной скамье, которая тянулась полукругом и поддерживалась грифонами. Лавры и мирты соединяли над ней свои тени. Вдоль всей окружности куртины стояли статуи. Раненая амазонка томно обвивала голову движением согнутой руки. На ее красивом лице страдание казалось прекрасным. Косматый сатир играл с козой. Окончив купание, Венера отирала свои влажные члены, по которым, казалось, пробежал трепет наслаждения. Около нее молодой фавн, улыбаясь, подносил к своим губам флейту. Его лоб был полузакрыт ветвями, но сквозь листву блестел его лоснящийся живот.

— Кажется, что этот фавн дышит, — сказал Марк Лоллий, — как будто легкое дыхание поднимает его грудь.

— Это правда, Марк, так и ждешь, что он извлечет из своей флейты, сельские напевы, — сказал Галлион. — Раб грек изваял его в мраморе со старинного образца. Грека в давние времена были большими мастерами таких безделушек. Многие из их работ в этом стиле справедливо прославились. Нельзя отрицать: они умели придавать богам величественный образ и выражать в мраморе или в бронзе царственность властителей мира. Кто не восхищается олимпийским Юпитером Фидия? А вместе с тем кто пожелал бы стать Фидием?

— Конечно, никакой римлянин не хотел бы стать Фидием! — вскричал Лоллий, расточивший несметное наследство своих отцов на перевозку из Греции и Азии произведений Фидия и Мирона, которыми он украшал свою виллу в Позилиппо.

Люций Кассий разделял его мнение. Он настойчиво утверждал, что руки свободного человека были созданы не для того, чтобы править резцом скульптора или кистью художника, и что ни один римский гражданин не сможет унизиться до плавки бронзы, ваяния мрамора и рисования фигур на стене.

Он восхищался старинным нравом и пользовался всяким случаем, чтобы восхвалить доблесть предков.

— Курин и Фибриции, — сказал он, — сами возделывали салат и спали под соломенной кровлей. Они не знали других статуй, кроме вытесанного из сердцевины букса Приапа, который торчал среди сада могучим колом, угрожая ворами смешной и ужасной казнью.

Мела, много читавший римские летописи, привел в возражение пример одного старого патриция.

— Во времена республики, — сказал он, — славный Кай Фабий, происходивший из семьи потомков Геркулеса и Эвандра, своими руками расписал стены храма живописью, настолько всеми ценимой, что потеря ее при недавнем пожаре храма была признана общественным бедствием. Говорят, что он не снимал тоги, когда расписывал свои фигуры, утверждая этим, что пятка краски не унижают достоинства римского гражданина. Он получил прозвище живописца, и потомки его почитали за честь носить это прозвище.

Люций Кассий возразил на это:

— Изображая Победы на стенах храма, Кай Фабий имел в виду эти победы, а не живопись. В то время в Риме не было живописцев. Желая чтобы великие деяния предков были непрестанно перед глазами римлян, он подал пример ремесленникам. Но все-таки,

первосвященник или эдил, кладущий первый камень зданию, не становятся от этого каменщиками или архитекторами. Кай Фабий положил начало живописи Рима, не давая этим повода зачислить себя; в число рабочих, которые зарабатывают себе пропитание, разрисовывая стены.

Аполлодор движением головы одобрил эту речь и сказал, поглаживая свою философскую бородку:

— Сыновья Иула рождены управлять миром. Все прочие заботы были бы их не достойны.

И своим круглым ртом он долго еще восхвалял римлян. Он льстил им потому, что боялся их. Но в сердце своем он ощущал только презрением к этим ограниченным людям, чуждым всякой тонкости ума. Он воздал хвалу Галлиону:

— Ты украсил этот город великолепными памятниками. Ты обеспечил свободу его сената и его народа. Ты установил хорошие правила для торговли и навигации, ты творишь суд благожелательно и правосудно. Статуя твоя воздвигнется на Форуме. Тебе будет дан титул второго основателя Коринфа, или, вернее, Коринф примет в память о тебе имя Аннея. Все это вещи, достойные римлянина и достойные Галлиона. Но не думай, что греки чтут более, чем следует, искусство физического труда. Если многие из них занимались разрисовкой сосудов, окраской ткани, ваянием статуй, то это делалось по необходимости. Уллис своими руками построил свое ложе и свой корабль.

Во всяком случае, греки считают, что мудрому не подобает предаваться суетному и грубому искусству. В своей юности Сократ изучал ремесло скульптора и сделал изображение Харит, которое можно до сих пор видеть в афинском Акрополе. Он обладал не малым искусством и, если бы захотел, мог бы изобразить не хуже наиболее прославленных художников атлета, мечущего диск или завязывающего повязку на челе своем. Но он оставил эти работы, дабы посвятить себя исканию мудрости, как приказал ему оракул. С тех пор он обращался к молодым людям не для того, чтобы измерять пропорции их тел, но единственно для того, чтобы научить их вещам благородным. Тем, чьи формы были совершенными, предпочитала тех, чьи души были прекрасными, в противность всем скульпторам, художникам и распутникам. Эти последние почитают красоту внешнюю и пренебрегают внутренней. Вы знаете, что Фидий выгравировал на большом пальце своего Юпитера имя атлета потому, что этот был красив, не заботясь, о том, был ли он целомудрен.

— Вот почему, — заключил Галлион, — мы не восхваляем скульпторов даже тогда, когда восхваляем их произведения.

— Клянусь Геркулесом, — воскликнул Лоллий, — я не знаю, кем восхищаться больше: этим ли фавном или этой Венерой! Богиня свежа, как вода, влажность которой еще сохраняется ее телом. Она воистину сладострастие богов и людей, и не боишься ли ты, о, Галлион, что однажды ночью какой-нибудь хам, спрятавшись в твоих садах, заставит ее испытать то же оскорбление, какое юный нечистовец нанес, говорят, Книдской Венере? Утром жрецы храма обнаружили на богине следы оскорбления, и путешественники сообщают, что с тех пор она хранит на себе неизгладимое пятно. Достойны равно удивления и дерзость этого человека и долготерпение бессмертной.

— Преступление не осталось безнаказанным, — провозгласил Галлион. — Святотатец бросился в море и разбился о скалы. Его больше не видали.

— Без сомнения, — продолжал Лоллий, — Венера Книдская красотой превосходит всех прочих. Но скульптор, который изваял Венеру, в твоих садах сумел оживить мрамор. Взгляни на этого фавна: он смеется, слюна увлажняет его губы и зубы, щеки его свежи, как яблоко, все его тело искрится юностью. И все же этому фавну я предпочитаю Венеру.

Аполлодор поднял руку и промолвил:

— Нежный Лоллий, подумай немного, и ты поймешь, что это предпочтение простительно невежде, безрассудно следующему своим инстинктам, а не разуму, но непозволительно такому мудрецу, как ты. Эта Венера не может быть такой же прекрасной, как фавн, потому что тело женщины менее совершенно, чем тело мужчины, копия вещи более прекрасной не может сравниваться красотой с копией вещи менее прекрасной. А нельзя сомневаться, о, Лоллий, что тело женщины менее прекрасно, чем тело мужчины, потому что оно заключает в себе душу менее прекрасную. Женщины суетны, сварливы, заняты пустяками, они не способны к возвышенным мыслям и великим деяниям, и болезнь часто затемняет их разум.

— Однако, — заметил Галлион, — в Риме, как и в Афинах, девственницы я матери почитались достойными предстоять святыне и приносить жертвы на алтарях. Более того, боги выбирали иногда девственниц для возвращения своих прорицаний и раскрытия людям будущего. Кассандра обвила свой лоб повязкой Аполлона и напороочила разрушение Трои. Ютурне, которую любовь бога сделала бессмертной, поручили охранять римские фонтаны.

— Правда, — возразил Аполлодор, — но боги дорого заставляли девственниц платить за разъяснение своей воли и возвещения будущего. Позволяя им видеть сокровенное, они одновременно отнимали у них разум и делали их помешанными. Вообще же я согласен с тобой, о, Галлион, что некоторые женщины лучше некоторых мужчин, а что некоторые мужчины менее хороши, чем некоторые женщины. Причиной этому служит то обстоятельство, что оба пола не так различны и не так разделены друг от друга, как это думают, и что, напротив, во многих женщинах имеется не мало от мужчины, и не мало от женщины — во многих мужчинах. Вот как объясняют это смешение: предки людей, ныне населяющих землю, вышли из рук Прометея, который, чтобы создать их, замесил глину, подобно гончарам. Он не ограничился тем, что собственноручно слепил единственную пару. Слишком прозорливый и слишком находчивый, чтобы решиться дать произойти от одного семени и из одной формы всему человеческому роду, он сам взялся изготовить множество мужчин и женщин, чтобы сейчас же обеспечить человечеству преимущество многочисленности. Для лучшего производства столь трудной работы, он создал вначале отдельно все части, какие должны были составлять мужские и женские тела. Он наделал столько легких, печенок, сердец, мозгов, мочевых пузырей, селезенок, кишок, маток, женских и мужских половых органов, сколько нужно было, — одним словом, создал стойким искусством и в достаточном количестве все органы, посредством которых люди могли бы отлично дышать, питаться и размножаться. Он не забыл ни мышц, ни сухожилий, ни костей, ни крови, ни влаги. Наконец, он накроил кож, оставив за собой право укладывать в них, как в мешок, необходимые органы. Все куски мужчин и женщин были закончены, оставалось только их соединить, когда Прометей был приглашен на ужин к Бахусу. Он отправился к нему, и, увенчав чело розами, слишком часто осушал чашу бога. Сильно шатаясь, вернулся он в свою мастерскую. С мозгом, помраченным винными парами, с мутным взглядом, с неуверенными руками, он, на наше несчастье, вновь принялся за работу. Распределить органы человеческого тела, казалось ему легкой игрой. Он плохо соображал, что делает, и был доволен всем, что ни делал. То и дело по недосмотру он давал женщине то, что следовало мужчине, и мужчине — что подбало женщине.

Таким образом, наши прародители оказались составленными из различных кусков, которые плохо согласовались между собой. Соединяясь по своей воле или случайно, они произвели на свет существа столь же неслаженные, как они сами. Вот как произошло, что, по ошибке Титана, мы видим столько мужественных женщин и женственных мужчин. Вот чем объясняются противоречия, встречаемые в наиболее твердом характере, и почему ум, наиболее решительный, изменяет себе ежечасно. Наконец вот почему мы находимся в постоянной войне сами с собой.

Луций Кассий осудил этот миф за то, что он не учит человека побеждать самого себя, а

напротив, призывает, не противиться природе.

Галлион поделился своими наблюдениями о том, как философы и поэты различно объясняют происхождение человека и сотворение мира.

— Не следует слишком слепо верить басням, которые рассказывают греки, — сказал он, — и особенно! — считать истиной, о, Аполлодор, рассказы о камнях, брошенных Пиррой. Философы не пришли к соглашению между собой по вопросу сотворения мира, оставляя нас в недоумении о том, произошла ли земля из воды, или из воздуха, или, как наиболее вероятно, из тончайшего пламени. Но греки хотят знать все и плетут хитроумные выдумки. Насколько лучше — признаться в нашем невежестве. Прошедшее скрыто от нас так же, как и грядущее. Мы живем между двумя густыми тучами — забвения прошлого и неуверенности в будущем. Между тем любопытство мучит нас познать причины вещей, и жгучее беспокойство заставляет размышлять о судьбах человека и мира.

— Это правда, — вздохнул Кассий, — мы постоянно стараемся проникнуть в непроницаемое будущее. Мы стремимся к этому изо всех наших сил и всевозможными способами. Мы думаем достигнуть этого то размышлением, то молитвой и исступлением. Некоторые вопрошают божественных оракулов, другие, не боясь преступить дозволенное, обращаются к халдейским прорицателям, или вавилонскому гаданию. Любопытство нечестивое и тщетное... К чему послужит нам знание будущего, раз оно неизбежно? И все-таки мудрецы еще более, чем простые смертные, испытывают желание прозреть в грядущее и, так сказать, броситься в него. Несомненно, происходит это оттого, что они надеются таким образом уйти от настоящего, которое приносит им столько печали и разочарования.

Да и как современным людям не иметь желания убежать из этого несчастного времени? Мы живем в веке, богатом подлостью, обильном позором и исполненном преступления.

Кассий еще долго принижал эпоху, в которой он жил. Он жаловался, что римляне, утратив древнюю добродетель, не находят удовольствия ни в чем, кроме поедания лукринских устриц и птиц с реки Фазиса, я что им нравятся только мимы, наездники и гладиаторы. Он болезненно ощущал зло, которым страдала империя: дерзкую роскошь знатных, низкую алчность клиентов и дикий разврат черни.

Галлион и брат его согласились с ним. Они любили добродетель. Все-таки у них не было ничего общего со старыми патрициями, которые, не имея других забот, кроме откармливания своих свиней и выполнения священных обрядов, завоевали мир ради преуспевания своего фермерского хозяйства. Знать от хлеба, установленная Ромулом и Брутом, уже давно угасла. Патрицианские семьи, созданные божественным Юлием и императором Августом, не были долговечны. Интеллигентные люди, собравшиеся из всех провинций империи, заняли их места. Римляне в Риме, они нигде не чувствовали себя иностранцами. Они значительно превосходили древних Цетегов[6] изяществом мысли и человечностью чувств. Они не сожалели о республике. Они не сожалели о свободе, воспоминания о которой у них соединялись с памятью о казнях и гражданских войнах. Они почитали Катона, как героя другого века, без желания самим увидеть возрождение столь возвышенной добродетели на новых развалинах. Они считали эпоху Августа и первые годы царствования Тиверия наиболее счастливым временем, когда-либо виденным на свете, поскольку золотой век существовал только в воображении поэтов. И они с болью в сердце изумлялись тому, что новый порядок вещей, обещавший человеческому роду долгое благоденствие, с такой быстротой принес Риму неслыханный позор и бедствия, неведомые даже современникам Мария и Суллы. Они видели, как, во время безумия Кая, лучших граждан клеймили каленым железом, приговаривали к работе в рудниках и к дорожным работам, как отдавали их на растерзание зверям и как отцов заставляли присутствовать при казни своих детей, а люди такой исключительной добродетели, как Кремуций Корд, чтобы лишить тирана удовольствия казнить их, предпочитали умерить себя голодом. К стыду Рима, Каллигула не пощадил ни

своих сестер, ни других знатнейших женщин. И что возмущало этих риторов и философов не менее, чем насильование матрон и убийство лучших граждан, это были преступления Кая против красноречия и литературы. Этот безумец задумал уничтожить все поэмы Гомера и велел удалить из всех библиотек писания, портреты и имена Вергилия и Тита Ливия. Галлион, наконец, не прощал ему сравнения стиля Сенеки с творилом без цемента.

Клавдия они боялись несколько меньше, чем Каллигулы, но презирали его, кажется, больше. Они смеялись над его головой, похожей на тыкву, и его голосом моржа. Этот старый ученый не был чудовищем злодейства. Упрекать его могли только в слабости. Но в действиях верховной власти эта слабость порой была не менее жестокой, чем зверство Кая. У них были с ним и семейные счеты. Если Кай смеялся над Сенекой, то Клавдий изгнал его на остров Корсику. Правда, его дотом снова вызвали в Рим и облекли достоинством претора. Но и за это не могли питать к Клавдию благодарности, потому что в этом деле он только подтвердил приказ Агриппины[7], сам не зная, что именно он подтверждает. Негодуя, но сдерживаясь, они полагались на императрицу, по части смерти старика-императора и выбора нового. Тысячи позорных слухов носились о жестокой и бесстыдной дочери Германика. Но эти люди не слушали их и слушать не хотели, продолжая славить добродетель великой женщины, которой Сенеки были обязаны окончанием своей опалы и возрождением своего почета. Как это часто случается, убеждения их зависят от их выгоды. Печальный опыт их общественной деятельности не поколебал их веры в государственный строй, основанный божественным Августом и укрепленный Тиверием, тот строй, в котором они занимали высокие должности. В исправлении зол, совершенных властителями империи, они рассчитывали на нового властителя.

Из складок своей тоги Галлион достал свиток папируса.

— Дорогие друзья, — сказал он, — сегодня утром я узнал из римских писем, что наш молодой государь женился на Октавии, дочери Цезаря.

Одобрительный шопот встретил это известие.

— Конечно, — продолжал Галлион, — мы должны поздравить себя с союзом, по милости которого государь присоединил к своим прежним титулам титул супруга и зятя, сравнившись в этом с Британником. Мой брат Сенека не перестает расхваливать в своих письмах красноречие и кротость своего ученика, который прославляет свою юность, выступая перед императором с защитительными речами в сенате. Ему еще не исполнилось шестнадцати лет, а он уже выиграл дело трех городов, виновных или несчастных: Илиона, Болоньи и Аппамеи.

— Значит, — спросил Луций Кассий, — он не унаследовал мрачного нрава своих предков Домициев?

— Нет, конечно, — ответил Галлион, — в нем воскрес Германик.

Не слышавший льстецом, Анней Мела, также воздал хвалу сыну Агриппины. Хвала казалась искренней и трогательной, потому что он подтверждал ее, так сказать, головой своего сына, еще ребенка.

— Нерон целомудрен, скром, благожелателен и благочестив. Мой Маленький Лукан, который мне дороже зеницы ока, товарищ его игр и занятий. Они вместе учатся декламировать на греческом и латинском языках. Вместе они пробуют сочинять и поэмы. Нерон в этой замысловатой борьбе не проявляет ни капельки зависти. Наоборот, он охотно хвалит стихи своего соперника, в которых, несмотря на слабость, свойственную возрасту, проявляется порой пламенная энергия. Порой кажется, что он счастлив быть побежденным племянником своего наставника. Чарующая скромность владыки юности! Придет день, когда поэты сравнят дружбу Нерона и Лукава со святой дружбой Эвриала и Ниса[8].

— Нерон, — продолжал проконсул, — и в пылу, свойственном юности, обнаруживает душу кроткую, полную милосердия. Вот добродетели, которые могут только укрепиться с годами.

— Усыновляя его, Клавдий мудро согласовался с волей народа и волей сената. Этим усыновлением он отстранил от власти дитя, клейменное бесчестием матери [9]. Выдав за Нерона Октавию, он обеспечил власть юного Цезаря, который сделается усладой Рима. Почтительный сын достойной матери, усердный ученик философа, Нерон, юность которого блистает самыми любезными Добродетелями, Нерон, надежда наша, надежда всего мира, не забудет и в пурпуре учение Портика и будет управлять вселенной со справедливостью и умеренностью.

— Мы согласны с тобой в этом, — сказал Лоллий. — Да откроется эра счастья роду человеческому!

— Трудно предвидеть будущее, — сказал Галлион, — однако мы нисколько не сомневаемся в вечности города. Оракулы обещали Риму бесконечную власть, и было бы нечестием не верить богам. Высказать ли вам мою драгоценнейшую надежду? Я с радостью ожидаю, что на земле воцарится вечный мир после того, как парфяне будут наказаны. Да, мы можем, не опасаясь ошибиться, объявить конец войнам, которые ненавистны матерям. Кто тогда сможет возмутить римский мир? Орлы наши достигли граней вселенной. Все народы извели и нашу силу и наше милосердие. Араб, Сабиец, житель Гемуса, Сармат, утоляющий жажду конской кровью, Сикамбр, долгокудрый шерстоловый эфиоп, толпой приходят воздать поклонение Риму-покровителю. Откуда явиться новым варварам? Вероятно ли, чтобы льды севера или горячие Ливийские пески таили в себе прозапас новых врагов римского народа? Все варвары, приобщась нашей дружбы, сложат оружие, и Рим, седовласый патриарх, спокойный в своей старости, увидит, как народы, почтительно сидя вокруг него подобно усыновленным детям, думают о согласии и любви.

Все одобрили эти слова, кроме Кассия, который покачал головой. Он гордился военными почестями, свойственными его происхождению, и военная слава, столь восхваляемая поэтами и риториками, возбуждала его энтузиазм.

— Сомневаюсь, о, Галлион, что народы когда-нибудь перестанут бояться и ненавидеть друг друга. И, по правде сказать, не желаю я этого. Если война прекратится, что станет с силой характера, величию души, любовью к родине? Храбрость и преданность стали бы добродетелями, вышедшими из употребления.

— Успокойся, Луций, — сказал Галлион, — когда люди перестанут побеждать друг друга, они примутся побеждать самих себя. А это самое доблестное усилие, какое они могут сделать, и самое благородное применение их храбрости и великодушия. Да, Рим, наша божественная мать, чьи морщины и волосы, поседевшие в веках, мы обожаем, — Рим установит мир во вселенной! Хорошо тогда будет жить. В известных условиях жизнь достойна быть прожитой. Это огонек между двумя бесконечными тенями, это наша часть божества. Покуда человек живет, он подобен богам.

Пока Галлион говорил таким образом, голубка села на плечо Венеры, мраморные формы которой блестели сквозь мирты.

— Дорогой Галлион, — сказал Лоллий, улыбаясь, — птице Афродиты полюбились твои речи. Они мягки и исполнены изящества.

Раб принес прохладного вина, и друзья проконсула заговорили о богах. Аполлodor полагал, что не легко познать их природу. Лоллий сомневался в их существовании.

— Когда, — сказал он, — падает молния, от философа зависит приписать это явление туче или богу-громовержцу.

Но Кассий не одобрял столь легкомысленных; разговоров. Он верил в богов республики. Не вполне уверенный в границах их могущества, он утверждал, что они существуют, и не желал расходиться с человеческим родом в таком существенном вопросе. И дабы подкрепить свою веру предков, воспользовался рассуждением, которому он научился у греков.

— Боги существуют, — сказал он. — Люди создают образ их. А невозможно представить себе образ при отсутствии реальности изображаемого. Как могли бы видеть образ Минервы, Нептуна и Меркурия, если бы не было Минервы, Нептуна и Меркурия?

— Ты меня убедил, — сказал ему Лоллий, усмехаясь, — Старая баба, продающая медовые пряники на Форуме, у подножия базилики, видела бога Тифона: у него косматая ослиная голова и огромный живот. Он поверг ее на землю, задрал ей платье на голову, звонко, в такт отшлепал ее и оставил ее еле живой, оросив мочей, невероятно зловонной. Она сама рассказала, как ее, подобно Антиопе, посетил бессмертный. Бог Тифон безусловно существует, поскольку он помочился на торговку пряниками.

— Вопреки всем твоим насмешкам, Марк, я не сомневаюсь в существовании богов, — возразил Кассий, и я думаю, что они имеют вид людей, поскольку в этой форме они нам неизменно являются во сне.

— Лучше будет сказать, — заметил Аполлодор, — что люди имеют образ божества, потому что бога существовали раньше их.

— О, дорогой Аполлодор, ты забываешь, что Диану первоначально почитали в образе дерева, и что многие великие боги имеют вид неотесанного камня. Кибелу изображают не с двумя грудями, подобно женщине, но со многими сосцами, как собачонку или свинью. Солнце — это бог, но, будучи слишком горячим, чтобы сохранить человеческий образ, он свернулся в шар: это бог круглый.

Анней Мела снисходительно осудил эти академические насмешки.

— Не следует принимать буквально, — сказал он, — все, что рассказывают о богах. Чернь зовет рожь Церерой, вино — Бахусом, но найдется ли человек настолько безумный, чтобы поверить, будто он пьян и ест бога? Обратимся лучше к божественной природе. Боги — различные части природы. Они сливаются в едином боге, который и есть природа, взятая в целом.

Проконсул одобрил слова своего брата и серьезным тоном определил природу божества.

— Бог — душа мира, разлитая во всех частях вселенной, которой она сообщает движение и жизнь. Эта душа — созидательный огонь, проникающий косную массу, — создала мир. Она им управляет и его охраняет. Божество, действенная причина, в основе есть благо. Материя, коей оно пользуется, косна, неподвижна и в иных своих частях злокачественна. Бог не в силах изменить ее свойство. Вот чем объясняется происхождение зла в мире. Наши души — искры того божественного огня, которым они должны будут некогда поглотиться. Таким образом, в нас бог, и живет он особенно в человеке добродетельном, душа которого не заграждена толщей материи. Мудрец, в коем живет бог, равен богу. Он должен не взывать к нему, но хранить его в себе. И какое безумие молить бога! Какое нечестие направлять к нему наши желания! Эта значит полагать возможным просветить его разум, изменить его сердце и внушать ему исправиться, это значит не считаться с необходимостью, управляющей его непреложной мудростью. Он подвластен судьбе: вернее сказать, сама судьба — это он. Воля его — закон, и он подвластен ему, как и мы. Он приказывает раз, повинуется — вечно. Свободный и властный в своем подчинении, он слушается только самого себя. Все события мира — развитие его начальных, верховных предначертаний. Против себя самого он бессилен бесконечно.



Слушатели Галлиона зааплодировали, но Аполлодор попросил разрешить ему сделать некоторые возражения.

— Ты прав, о, Галлион, что Юпитер подчинен необходимости, и я согласен с тобой, что необходимость — первая среди всех бессмертных богинь. Твой бог, мне кажется, прекрасным особенно потому, что он всеобъемлющ и вечен, но при сотворении мира он проявил гораздо более доброй воли, чем удачи, так как для его созидания он не нашел ничего лучшего, кроме неблагодарной и непокорной субстанции, а материал выдает мастера. Я не могу помешать себе скорбеть о его неудаче. Афинские горшечники более счастливы. Чтобы делать свои сосуды, они добывают тонкую и пластичную глину, которая легко принимает и сохраняет контуры, какие ей придадут. Оттого-то их амфоры и чаши имеют приятную форму. Они грациозно округлены, и художник чертит на них любезные глазу фигуры, например, старого Силена на осле, облачающуюся Афродиту и целомудренных амазонок. Размышляя так, о, Галлион, я прихожу к заключению, что если твой бог был неудачливее афинских горшечников, то, значит, ему просто не хватало мудрости, и он не был хорошим ремесленником. Материя, которую он нашел, не была превосходной. Все-таки она была не лишена полезных свойств, ты это признаешь и сам. Нет вещей ни совершенно хороших, ни вещей совершенно плохих. Вещь может быть плоха для одного употребления и хороша для другого. Можно потратить напрасно и труд и время, сажая оливки в глину, из которой лепят амфоры. Дерево Паллады не произросло бы на тонкой и чистой земле, из которой делают те прекрасные вазы, что получают, краснея от скромности и гордости, наши победители — атлеты. Мне кажется поэтому, что, творя мир из материи, для того не пригодной, твой бог, о, Галлион, был повинен в такой же ошибке, как если бы Мэгарский виноградарь посадил дерево в горшечную глину, или какой-нибудь гончар из Керамики воспользовался для выделки амфор каменистой землей, питающей светлый виноград. Твой бог сотворил вселенную. Конечно, он должен был, подобающе применяя свои материалы, творить нечто другое. Раз субстанция, как ты это утверждаешь, была ему непокорна по своей ли косности или по какому-либо иному дурному свойству, стоило ли ему упорствовать, применяя ее к назначению, которое она не могла выполнить; неразумно, как говорится, вырезывать лук из кипариса? Искусство состоит не в том, чтобы делать много, а в том, чтобы хорошо сделать. Что бы ему ограничиться созданием немногих, но хорошо сделанных вещей, например, рыбкой, мошкой или каплей воды?

— У меня есть еще некоторые замечания относительно твоего бога, Галлион; спрошу тебя, например, не боишься ли ты, что от своего вечного трения о материю он изнашивается, как изнашивается жернов от долгого размалывания зерна? Но этих вопросов быстро не разрешить, а время проконсулу дорого. По крайней мере, позволь мне сказать, что ты не прав, полагая, что бог направляет и охраняет мир, раз, по твоему собственному признанию, он, поняв все, лишил себя понимания, пожелав все, лишил себя воли и, дерзнув сделать все, — лишился могущества. С его стороны и это было очень крупной ошибкой, потому что, таким образом, он лишил себя возможности исправить свое несовершенное произведение. Что до меня, я склонен скорее поверить, что в действительности бог не тот, каким ты его описал; скорей он и есть та материя, которую твой бог однажды нашел и которую наши греки называют хаосом. Ты ошибаешься, предполагая ее косной, она непрерывно движется, и ее вечное волнение поддерживает жизнь вселенной.

Так говорил философ Аполлодор. Выслушав эту речь с некоторым нетерпением, Галлион принялся доказывать, что он не впадал в заблуждения и противоречия, в которых его уличал грек.

Но победоносно опровергнуть доводы своего противника ему не удавалось, потому что ум его не был достаточно тонок, в философии он отыскивал, главным образом, доводы, чтобы склонить людей к добродетели, и интересовался только полезными истинами.

— Пойми же, Аполлодор, — сказал он, — что бог не что иное, как природа. Природа и он —

это одно. Бог и природа — суть два имени одного бытия, подобно тому, как Новат и Галлион обозначают одного человека. Если тебе так больше нравится, то бог — это божественный разум, смешанный с миром. И не бойся, что он износится, потому что его вещество причастно огню, который все сжигает и остается неизменным.

— Но если только, — продолжал Галлион, — учение мое охватывает идеи, не привыкшие соприкасаться друг с другом, не упрекай меня в том, дорогой Аполлодор, но скорей похвали меня за то, что я допускаю некоторые противоречия в своих суждениях. Если бы я не мирился с своими собственными мыслями, если бы я отдавал исключительное предпочтение одной системе, — я не сумел бы остаться терпимым к свободе мнений; уничтожив ее в самом себе, я бы не мог добровольно переносить ее в других и утратил бы способность питать уважение, подобающее каждой системе, установленной или исповедуемой человеком чистосердечно. Да сохранят меня боги от того, чтобы я допустил свое чувство исключить возможность всех остальных и позволил ему неограниченно властвовать над всяким другим пониманием.

Нарисуйте себе картину, друзья мои, такого состояния нравов, когда достаточно большое количество людей твердо верило бы, что они обладают истиной и, что они, хотя это и невозможно, сходились бы в мнениях об этой истине. Слишком ограниченное благочестие афинян, хотя и исполненных мудрости и сомнений, все же послужило причиной изгнания Анаксагора и смертного приговора Сократу. Что бы случилось, если бы миллионы людей были рабами одного воззрения на природу богов.

Гений греков и осторожность наших предков оставили в нашей вере место сомнению и разрешили поклоняться Юпитеру под различными именами. Если в заболевшей вселенной какая-нибудь могущественная секта вздумает провозгласить, что Юпитер имеет только одно единственное имя, кровь сейчас же польется по всей земле, и безумие не одного Кая станет смертельной угрозой человеческому роду. Все люди этой секты будут Каями. Они станут умирать ради одного имени. Они станут убивать имени одного ради. Ведь людям естественнее убивать, а не умирать за то, что они почитают истинным и прекрасным. Таким образом, общественный строй должен быть основан на различии мнений, и не надо стараться утверждать его на общем: согласии в единой вере. Такого единодушного согласия никогда не достигнуть, а делая усилие создать его, только сделаешь людей и тупыми и свирепыми. И действительно, даже самая очевидная истина становится пустым набором слов для людей, которым ее навязывают. Ты заставляешь меня думать то, что ты понимаешь и чего я не понимаю. Таким образом, ты вкладываешь в меня не осознанную мысль, а нечто непонятное. Я ближе к тебе, если я верю в нечто чуждое тебе, но что я понимаю. Потому что тогда мы оба пользуемся своим разумом и взаимно понимаем веру, нам самим свойственную.

— Оставим это, — сказал Лоллий, — образованные люди никогда не соединяться, чтобы душить все учения в пользу одного. Что же касается черни, то кто же заботится просвещать ее в том, шестьсот ли имен у Юпитера или только одно?

Тогда взял слово Кассий, более медлительный и серьезный, чем остальные.

— Берегись, о, Галлион, чтобы учение о боге, как ты его излагаешь, не оказалось противным верованиям твоих предков. В сущности, не важно, лучше ли твои доводы или хуже Аполлодоровых. Но надо подумать о родине. Своими добродетелью и могуществом Рим обязан своей религии. Уничтожать наших богов — это значит уничтожать нас самих.

— Не бойся, друг, — возразил Галлион, — не бойся, что я дерзкой душой начну отрицать небесных покровителей империи. Единое божество, о, Луций, которое знают философы, включает всех богов, подобно тому, как человечество включает всех людей. Боги, культ которых был устроен нашими предками: Юпитер, Юнона, Марс, Минерва, Квирин, Геркулес, суть наиболее царственные части всеобъемлющего провидения, а части

существуют не менее целого. Нет, конечно, я не нечестивец, не враг законов. И никто более Галлиона не уважает святынь.

Никто не подал вида, что намерен оспаривать его мнение.

И Лоллий вернул разговор к его исходному предмету.

— Мы пытались провидеть будущее. Какая, друзья, по вашему мнению, участь ждет человека после смерти?

В ответ на этот вопрос Анней Мела пообещал бессмертие героям и мудрецам. Но он отказал в нем людям обыденным.

— Невероятно, — сказал он, — чтобы скупцы, обжоры и завистники обладали бессмертной душой. Может ли подобное преимущество быть уделом нелепых и тупых существ? Мы этого не думаем. Полагать, что бессмертие предназначено мужику, который знает только своих коз и сыр, или более богатому, чем Крез, вольноотпущеннику, чьей единственной в мире заботой является проверка счетов своих управляющих, было бы оскорблением божьего величества. Скажите, ради бога, на что им душа? Хороши бы они были среди героев и мудрецов в Елисейских полях. Эти несчастные, подобные стольким другим земнородным, не способны наполнить даже свою мимолетную человеческую жизнь. Как же им наполнить еще более долгую жизнь? Души непросвещенные угасают вместе со смертью, или; кружатся вихрем некоторое время вокруг земного шара и рассеиваются в густых слоях воздуха. Одна добродетель, равняя человека с богами, приобщает их к бессмертию. Как сказано у одного поэта: «Вовек не сойдет к теням Стикса прославленная добродетель. Живи как герой, и рок не увлечет тебя в жестокую реку забвения. В последний из дней твоих слава откроет тебе ворота пути небесного». Определим же точно условия нашего существования. Мы исчезнем все, исчезнем без остатка. Человек сияющей добродетели избегает общей участи, только становясь богом и заставляя принять себя на Олимп в окружение богов и героев.

— Но ведь он не способен сознать своего собственного апофеоза, — сказал Марк Лоллий. — На свете нет ни одного раба, нет ни одного варвара, который не знал бы, что Август — бог. Но сам Август эту не знает. Вот почему наши цезари с такой неохотой направляются к созвездиям, и в наши дни мы видим, как Клавдий, бледнея, приближается к этим бледным почестям.

Галлион покачал головой.

— Поэт Еврипид сказал: «Любим мы жизнь эту, являющуюся нам на земле, потому что мы не знаем иной».

— Все, что говорится мам о мертвых, недостоверно и смешано из мифов и лжи. Во всяком случае, я верю, что люди добродетельные достигнут бессмертия, которое они вполне сознают. Поймите, что они достигают его собственными усилиями, а вовсе не получают его в награду по присуждению богов. По какому праву бессмертные боги унизили бы добродетельного человека наградой? Настоящая плата за добро — это его свершение, и вне самой добродетели нет ни одной достойной ее цены. Оставим грубым душам, чтобы поддержать в них неизменное мужество, страх наказания и надежду на вознаграждение. Не будем любить в добродетели ничего, кроме самой добродетели. Галлион, если то, что поэты рассказывают о подземном царстве, истина, если после смерти ты предстанешь перед судом Миноса, ты скажешь ему: «Минос, не суди меня. Меня уже судили мои поступки».

— Как же, — спросил философ Аполлодор, — боги дадут людям бессмертие, которым они сами не обладают?

Аполлодор действительно не верил, что боги бессмертны, или, по крайней мере, что власть

их над миром будет длиться вечно. Он изложил свои доводы.

— Царствование Юпитера началось, — сказал он, — после золотого века. Мы знаем из преданий, сохранных нам поэтами, что сын Сатурна в управлении миром заступил место своего отца. Но все, что имеет начало, должно иметь и конец. Нелепо предполагать, что вещь, ограниченная с одной стороны, может быть неограниченной с другой. Тогда надо было бы предположить ее одновременно и конечной, и бесконечной, что, очевидно, невозможно. Всякий предмет обладает крайней точкой, измерим, начиная с этой точки, и не может перестать быть измеримым ни в какой точке своего протяжения, если он не изменит своей природы, а свойством всего измеримого является то, что оно ограничено двумя крайними точками. Итак, мы должны считать достоверным, что царствование Юпитера кончится так же, как кончилось царство Сатурна. Как сказал Эсхил: «Необходимости Зевс подчинен. Не избежать ему того, что предустановлено роком».

Галлион думал так же, на основании выводов, сделанных путем наблюдения природы.

— Я полагаю, как и ты, о, Аполлодор, что царство богов не бессмертно, к этому мнению склоняет меня созерцание небесных явлений. Небеса, ровно как и земля, подвержены тлению, и чертоги богов разрушаются подобно жилищам людей под бременем веков. Я видел камни, упавшие к нам из воздушных пространств. Они были черны, и насквозь изъедены огнем. Они принесли нам достоверное свидетельство о небесных пожарах.

— Аполлодор, тела богов нерушимы не более их жилищ. Если правда, как поучает Гомер, что боги, живущие на Олимпе, оплодотворяют чрева богинь и смертных, то это значит, что сами они не бессмертны, хотя жизнь их и длится много больше жизни людей; из этого явствует, что роком они подчинены необходимости передавать потомству существование, которое они не способны навсегда сохранить.

— В самом деле, — сказал Лоллий, — трудно себе представить, что бессмертные, подобно людям и животным, производят детей и что они обладают необходимыми для этого органами. Но, быть может, любовь богов просто поэтический вымысел.

Аполлодор вновь поддержал вескими доводами мнение, что царствование Юпитера когда-нибудь кончится. И предсказал, что сыну Сатурна наследует Прометей.

— Прометей, — возразил Галлион, — освобожденный Геркулесом, с соизволения Юпитера, блаженствует на Олимпе благодаря своему предвидению и своей любви к людям. Ничто уже не изменит его счастливой судьбы.

Аполлодор спросил:

— Кто же тогда, по-твоему, о, Галлион, унаследует гром, потрясающий мир?

— Хотя мне и кажется смелым отвечать на подобный вопрос, я считаю возможным сделать это, — ответил Галлион, — и назвать преемника Юпитера.

Когда он произнес эти слова, чиновник из базилики, на обязанности которого лежало выкликать истцов, явился к нему и сообщил, что тяжущие ждут его в суде.

Проконсул спросил, большой ли важности это дело.

— Это очень маленькое дело, о, Галлион, — ответил чиновник базилики. — Один из жителей Кенхрейского порта притащил к тебе на суд одного чужеземца. Они спорят из-за какого-то варварского обычая или грубого суеверия, как это обычно у сирийцев. Вот запись их жалобы. Она была тарабарщиной для писца, которому пришлось ее излагать. Жалобщик доводит до твоего сведения, о, Галлион, что он глава еврейской общины, или, как говорится по-гречески,

синагоги, и он просит управы на человека из Тарса, который, обосновавшись недавно в Кенхрее, каждую субботу является в синагогу говорить против еврейского закона. «Это соблазн и мерзость, которые ты велишь прекратить», — говорит истец. И он требует неприкосновенности привилегии, принадлежащих сынам Израиля. А ответчик настаивает на праве всех, разделяющих его учение, быть усыновленными и войти в состав семьи некоего человека, по имени Абраамус, и угрожает истцу гневом небесным.

— Ты видишь, о, Галлион, что дело это ничтожное и темное. От тебя зависит, оставишь ли ты его за собой, или предоставишь его разобрать какому-либо младшему судье.

Друзья проконсула советовали ему не беспокоить себя таким мелким делом.

— Я вменил себе в долг, — ответил он им, — придерживаться на этот счет правил, начертанных божественным Августом. Не только крупные дела нуждаются в том, чтобы я разбирал их сам, но также и мелкие, если юриспруденцией они еще не определены. Некоторые мелкие дела повторяются изо дня в день и важны, по крайней мере, своим постоянством. Следует, чтобы я разобрал сам одно из каждого рода таких дел. Решение проконсула является примерным и превращается в закон.

— Следует тебя похвалить, о, Галлион, — сказал Лоллий, — за усердие, с каким ты выполняешь свои консульские обязанности. Но, зная твою мудрость, я сомневаюсь, чтобы тебе было приятно вершить правосудие. То, что люди украшают этим именем, в действительности является только средством неизменной осторожности и жестокой мести. Законны человеческие порождения гнева и страха.

Галлион мягко отклонил это изречение. Он не признавал за человеческими законами звания подлинного правосудия.

— Совершение преступления — это и есть его наказание. Наказание, которое добавляют к нему законы неравномерно и бесполезно. Но поскольку ошибкой людей законы уже существуют, мы должны применять их справедливо.

Он предупредил чиновника, из базилики, что прибудет в суд через несколько минут, и потом, обратившись к друзьям, сказал:

— По правде говоря, я имею особое основание лично рассмотреть это дело. Я не должен упускать ни одного случая проследить за кенхрейскими евреями, народом юрким, злобным, презирающим законы, который не легко сдерживать. Если когда-нибудь будет смущен покой в Коринфе, — это сделано будет ими. Гавань, где бросают якорь все корабли, приходящие с востока, скрывает в беспорядочном скоплении складов и постоянных дворов бесчисленную толпу воров, евнухов, прорицателей, колдунов, прокаженных, обирателей гробниц и убийц. Это притон всяческих гнусностей и всяческих суеверий. Там почитают Изиду, Эшмуна, финикийскую Венеру и еврейского бога. Меня тревожит, что эти евреи размножаются скорее по рыбьему, чем по человеческому подобию. Они кишат на грязных улицах гавани, как крабы по скалам.

— Они кишат также и в Риме, — вещь более страшная! — вскричал Люций Кассий. — Было преступлением со стороны великого Помпея занести эту проказу в город. Пленники, которых он вывез из Иудеи для украшения своего триумфа и с которыми он напрасно не поступил по обычаю предков, заселили сейчас своим рабьим отродьем весь правый берег реки. У ног Яникула, между кожевенными заводами, фабриками кишечных струн, чанами, где гниет тряпье, в предместьях, куда стекается все, что есть самого гнусного и мерзкого в мире, живут они, добывая себе пропитание подлейшими занятиями: разгружают баркасы, прибывающие из Остии, торгуют лохмотьями, подогретыми объедками и выменивают зажигалки на битое стекло. Их женщины ходят по богатым домам предсказывать будущее, их дети протягивают руки прохожим в роще Эгерии. Как ты говоришь, Галлион, враги человеческого рода и самих

себя, они беспрестанно готовы к мятежу. Всего несколько лет назад последователи какого-то Хрестуса или Херестуса вызвали среди евреев кровавые восстания. Porta Портоза (ворота в городской стене) была охвачена огнем, и залита кровью, и Цезарь, вопреки своему долготерпению, должен был вмешаться. Он выгнал из Рима главных смутьянов.

— Я знаю это, — сказал Галлион. — Многие из этих изгнанников переселились в Кенхрею, и в их числе один еврей и одна еврейка из Понта, которые живут в ней до сих пор, занимаясь каким-то скромным ремеслом. Кажется мне, что они ткут грубые киликийские ткани. Я не узнал ничего замечательного о сторонниках Хрестуса. Что касается самого Хрестуса, то я не знаю, что с ним случилось и жив ли он еще.

— Я, как и ты, не знаю этого, — возразил Луций Кассий, — и никто не узнает об этом никогда. Эти пошлые твари не достигают даже до преступной знаменитости. К тому же столько рабов носят имя Хрестуса, что было бы не легко выделить его из этого множества.

— Но мало того, что евреи поднимают волнение в своих лачугах, где, благодаря своей численности и ничтожеству, они недоступны надзору. Они рассыпаются по Риму, вкрадываются в семьи и повсюду сеют смуту. Они идут галдеть на Форуме по указке подстрекателей, которые им платят, и эти презренные чужестранцы возбуждают в гражданах взаимную ненависть. Мы слишком долго терпели их присутствие в народных собраниях, и не с сегодняшнего дня повелось, что ораторы наши избегают говорить против настроений этих презренных, из боязни оскорблений с их стороны. Упорствуя в подчинении своему варварскому закону, они хотят подчинить ему других и находят своих последователей, среди азиатов и даже среди греков. И вещь невероятная, но все-таки несомненная, они навязывают свои обычаи даже самим латинянам. В городе существуют целые кварталы, где все лавки закрыты в день их шабаша. О, позор Рима! И пока они развращают ничтожных людей, среди которых они живут, цари их допущены в дворец Цезаря, где, нагло выполняя свои суеверия, они дают всем гражданам пример отвратительный и знаменательный. Так со всех сторон евреи пропитывают Италию восточным ядом.

Анней Мела, который путешествовал по всему римскому миру, дал своим друзьям почувствовать размеры зла, на которое они жаловались.

— Иудеи развращают всю землю, — сказал он, — нет того греческого города, и почти нет города варварского, где бы не прекращали работу на седьмой день, где не зажигали бы светильников, где не справляли бы постов по их примеру, где не воздерживались бы, как они, от употребления в пищу мяса некоторых животных.

— Я встретил в Александрии старика иудея, человека, не лишеного образования, который был даже начитан в греческой литературе. Он радовался успеху, который его религия имеет в империи. «По мере того, как иностранцы узнают наши законы, — сказал он мне, — они находят их привлекательными и охотно им подчиняются, как римляне, так и греки, и те, которые живут на материке и те, кто живет на островах, народы западные и восточные, Европа и Азия». Может быть, старик этот говорил с некоторым преувеличением. Однако многие греки склоняются к еврейской вере.

Аполлодор горячо отрицал, что дело обстоит так.

— Иудействующих греков, — сказал он, — вы не найдете нигде, кроме подонков общества, да среди тех варваров, которые шляются, как разбойники и бродяги, по Греции. Возможно, во всяком случае, что сектанты, последователи Заики, и соблазнили нескольких невежественных греков, заставив их поверить, что в еврейских книгах можно найти идеи Платона о божественном провидении. Такова, действительно, ложь, которую они силятся распространять.

— Несомненно то, — ответил Галлион, — что евреи признают единого бога, невидимого,

всемогущего создателя мира. Но отсюда далеко до того, чтобы они ему поклонялись благоразумно. Они провозглашают, что бог их — враг всех, кто не еврей, и не может выносить в своем храме ни подобий других богов, ни статуй Цезаря, ни собственного своего изображения. Они считают нечестивцами тех, кто из бренной материи делает бога по человеческому подобию. То, что их бог не может быть изображен ни в мраморе, ни в бронзе, они обосновывают разными доводами; признаюсь, некоторые из них правильны и согласуются с нашим представлением о божественном провидении. Но что нам думать, Аполлодор, о боге, настолько враждебном республике, что он не допускает в свое святилище статуй государя? Что думать о боге, который оскорбляется почестями, возданными другим богам? И что думать о народе, который приписывает своим богам подобные чувства? Иудеи смотрят на богов латинских, греческих и варварских, как на богов враждебных, и они доводят свое суеверие до того, что верят, будто обладают полным и цельным богопознанием, к которому не должно ничего прибавлять и от которого нельзя ничего отнять.

— Вы знаете, дорогие друзья, что недостаточно только терпеть другие религии, нужно их все уважать, верить, что все они святы, что они равны между собой, благодаря чистосердечию исповедающих их, и что они, подобно стрелам, пущенным из разных точек к единой цели, сходятся на лоне божества.

— Только та религия, которая не терпит других, не может быть терпима. Если ей предоставить расти, она пожрет все остальные. Да что я говорю! Такая дикая религия — не религия, а скорее ее противоположность. Это не цепь, которая соединяет благочестивых людей, но острее, разрывающее эти священные узы. Это нечестие, и величайшее из всех нечестий. Ибо можно ли более жестоко оскорблять божество, чем почитать его в одной особой форме и в то же время ненавидеть его во всех других формах, в каких облакается оно для человеческого взора?

— Как, принося жертву Юпитеру, голова которого увенчана шлемом, я стану запрещать иностранцу приносить жертву Юпитеру, кудри которого, подобные цветам гиацинта, свободно ниспадают на плечи? И при таком нечестии буду еще считать себя поклонником Юпитера! Нет! Нет! Человек религиозный, связанный с бессмертными богами, равно связан со всеми людьми благодаря религии, которая объединяет землю и небо. Гнусно заблуждение евреев, почитающих себя благочестивыми, признавая только своего бога.

— Они делают себе обрезание в честь его, — сказал Анней Мела. — Чтобы скрыть свое уродство, когда идут в публичные бани, им приходится закрывать чехлом то, что, по здравому смыслу, не нужно ни торжественно выставлять, ни прятать, как позор. Ибо одинаково смешон человек и гордящийся, и стыдящийся того, что обычно всем людям. И мы не без основания боимся, дорогие друзья, развития еврейских обычаев в империи. Нечего бояться, во всяком случае, что римляне и греки примут обрезание. Невероятно, чтоб этот обычай проник даже к варварам, хотя для них это было бы менее неприятно, — так как они по большей части настолько нелепы, что вменяют в бесчестие человеку, если он появится голым среди себе подобных.

— Я вспомнил! — воскликнул Лоллий. — Когда наша нежная Камидия, цвет Эсквилинских матрон, посылает своих красавцев-рабов в бани, она заставляет их надевать кальсоны, ревнуя всех даже к виду того, что ей в них всего дороже. Клянусь Поллуксом, она будет причиной того, что их станут принимать за евреев, — подозрение, оскорбительное даже для раба.

Луций Кассий возразил возбужденно:

— Я не знаю, охватит ли иудейское безумие весь мир, но чересчур много и того, что это безумие распространяется среди невежд, слишком много, что его терпят в империи, слишком много, что позволяют существовать этому племени, нелепому в своих обычаях, нечестивому

и преступному в своих законах, ненавистных бессмертным богам. Непотребный сириец развращает столицу Римской империи. Это унижение — наказание за наши преступления. Мы презрели древние обычаи и благие учения греков.

Мы перестали служить тем хозяевам земли, которые ее нам покорили. Кто еще думает о гаруспициях? Кто почитает авгуров? Кто еще дочитает Мавора и божественных близнецов? О, печальное небрежение религиозным долгом! Италия отвергла своих богов-покровителей и гениев-хранителей. Отныне она со всех сторон открыта чужеземным суевериям и, беззащитная, предана нечистой толпе восточных жрецов. Увы! Для того ли Рим завоевал мир, чтобы быть завоеванным евреями. Конечно, мы не имели недостатка в предостережениях. Наводнение Тибра и недород хлебов, — несомненные знаки божественного гнева. Каждый день нам приносит какое-нибудь зловещее знамение. Земля потрясается, солнце затмевается, молния сверкает среди чистого неба. Чудеса сменяются чудесами. Видели, как зловещие птицы слетались на вершину Капитолия. На этрусском берегу заговорил бык. Женщины родили чудовищ. Жалобный голос раздался среди театрального игрища. Статуя Победы выронила поводья своей колесницы.

— Обитатели небесных чертогов, — сказал Марк Лоллий, — пользуются странными приемами для вразумления. Если им захотелось побольше сала и ладана на жертвенниках, отчего бы попросту не сказать об этом, вместо того, чтобы изъясняться посредством грома, туч, ворон, быков, статуй из бронзы и двухголовых детей. Сознайся также, Луций, что, предсказывая нам несчастье, они играют наверняка, так как, согласно естественному течению вещей, не проходит дня без какого-нибудь личного или общественного несчастья.

Галлиона, видимо, тронула печаль Кассия.

— Клавдий, — сказал он, — хотя и вечно спит, взволновался столь великой опасностью. Он жаловался сенату на презрение, которое постигло древние обычаи. Напуганный успехом чужеземных суеверий, сенат, по его совету, восстановил гаруспиции. Но надо восстановить в первоначальной чистоте не только религиозные церемонии, а и людские сердца. Римляне, вы требуете возвращения ваших богов. Подлинным пребыванием бога в этом мире является душа добродетельного человека. Воскресите в сердцах своих прежние добродетели: простоту, честность, любовь к общественному благу — и боги тотчас же войдут в них. Вы сами станете храмами и алтарями.

Сказав так, он простился со своими друзьями и пошел к своим носилкам, ожидавшим его уже некоторое время возле миртовой рощи, чтобы отнести его в суд.

Друзья встали и, покинув сады, пошли за ним медленным шагом под двойным портиком, расположенным так, чтобы в нем можно было найти тень во всякое время дня, и который вел от стены виллы до базилики, где проконсул творил суд.

По дороге Луций Кассий жаловался Меле на забвение, в котором находятся древние учения.

Положив руку на плечо Аполлодора Марк Лоллий сказал:

— Мне кажется, что ни наш кроткий Галлион, ни Мела, ни даже Кассий не сказали, почему они так сильно ненавидят евреев. Думается мне, что я знаю эту причину, и хочу ее доверить тебе, дражайший Аполлодор! Римляне, приносящие богам, как угодный им дар, белую свинью, украшенную повязками, испытывают ненависть к евреям, которые отказываются есть свинину. Судьба не напрасно послала в предвестие благочестивому Энею белую веприцу. Не покрой боги дубовыми рощами дикое царство Эвадара и Турна, Рим не был бы сегодня владыкой мира. Жолуди Лациума откармливали свиней, мясо которых только и утоляло ненасытный голод преславных племянников Рема. Наши итальянцы, тела которых образовались из мяса вепрей и свиней, чувствуют себя оскорбленными гордым воздержанием евреев, упорно отвергающих, как поганую пищу, дорогие старому Катоду



жирные стада, которые кормят господ вселенной.

Так, обмениваясь легкими разговорами и радуясь сладостной тени, все четверо достигли окраины портика и сразу увидели Форум, сияющий при свете солнца.

В этот утренний час он весь волновался движением гудящей толпы. Посредине площади помещалась бронзовая Минерва на цоколе, где были изваяны музы, а с левой стороны ее виднелись бронзовый Меркурий и Аполлон, творения Гермогена Киферского. Зеленобородый Нептун стоял в раковине. У ног бога дельфин изрыгал воду.

Со всех сторон Форум был окружен зданиями, высокие колонны и своды которых обличали римскую архитектуру. Перед портиком, которым прошли Мела и его друзья, пропилеи, увенчанные двумя золочеными колесницами, замыкали площадь народных собраний и вели мраморной лестницей к широкому и прямому пути в Лехейскую гавань. По обеим сторонам этих героических врат высились расписные фронтоны святилищ, Пантеон и Храм Дианы Эфесской. Храм Октавии, сестры Цезаря, господствовал над Форумом и выходил на море.

Базилика отделялась от него только темным переулком. Она поднималась на двойном ряде аркад, поддерживаемых пилонами с дорическими полуколоннами на квадратных базах. В этом сказывался римский стиль[10], который налагал свою печать на все другие городские здания. От первоначального Коринфа сохранились только обугленные обломки одного старого храма. Нижние аркады базилики были открыты и служили лавками для торговцев фруктами, зеленью, елеем, вином, жарким и птицею, а также ювелирам, книготорговцам и брадобреям. Менялы сидели за столиками, заставленными золотыми и серебряными монетами. Из темных впадин этих лавок вылетали крики, смех, призывы, шум потасовок и крепкие запахи. На мраморных ступенях, всюду, где только темь голубела на плитах, бездельники играли в кости или в бабки, тяжущиеся с беспокойными лицами прогуливались взад и вперед, матросы степенно выискивали те удовольствия, на которые стоило бы пожертвовать своими деньгами, а любопытные читали римские новости, изложенные легкомысленными греками. В этой толпе коринфян и иностранцев постоянно виднелись слепцы-нищие, мальчики с выщипанными волосами на теле и нарумяненные, торговцы зажигалками, моряки, искалеченные и носившие на шее картинки с изображением их кораблекрушения. С крыши базилики голуби стаями спускались на большие пустые пространства, покрытые солнцем, и клевали зерна в трещинах горячих плит мостовой. Двенадцатилетняя девочка, смуглая и бархатистая, как фиалка с острова Занфа, положила наземь братишку, который еще не умел ходить, поставила перед ним щербатую чашку, полную жидкой каши, с деревянной ложкой и сказала ему:

— Ешь, Коматас, ешь и молчи, не то тебя утащит красная лошадь.

Потом с оболком в руке она побежала к рыбному торговцу, который выставял из-за корзины, обвитой морскими водорослями, свое морщинистое лицо и обнаженную грудь цвета шафрана.

В это время голубка, летавшая над маленьким Коматасом, запуталась своими лапками в волосах ребенка. Плача и призывая на помощь сестру, он закричал голосом, прерываемым рыданиями:

— Иоэсса, Иоэсса!..

Но Иоэсса не слышала его. В корзинках старика, между рыбами и раковинами, она отыскивала, чем бы скрасить сухость своего хлеба. Она не взяла ни морского дрозда, ни смариды, мясо которых нежно на вкус, но стоит много денег. Она унесла в подоле своего задранного платья три пригоршни морских ежей и морских иголок.

А маленький Коматас, глотая слезы широко раскрытым ртом, не переставал орать:

— Иоэсса, Иоэсса!

Птица Венеры не унесла маленького Коматаса в лучезарные небеса, по примеру орла Юпитера. Она оставила его на земле, унеся в своем полете три золотых нитки волос запутавшихся на розовых лапках.

А ребенок, со щеками, блестящими от слез и измазанными пылью, рыдал над своей опрокинутой чашкой, сжимая в своем маленьком кулачке деревянную ложку.

Анней Мела в сопровождении трех друзей поднялся по ступеням базилики. Равнодушный к шуму и движению неразличимой толпы, он просвещал Кассия о будущем обновлении вселенной.

— В день, predetermined богами, настоящие вещи, порядок и сочетание которых поражает наши глаза, будут уничтожены. Звезды столкнутся со звездами, все вещества, из которых состоит почва, воздух и вода, мгновенно воспламятся. И человеческие души, едва заметные обломки в крушении вселенной, вернуться в свои первоначальные элементы. Совершенно другой новый мир...

Произнося эти слова, Анней Мела запнулся ногою о человека, спавшего в тени. Это был старик, искусно накинувший на запыленное тело дыряя своего плаща. Его сума, сандалии и палка валялись рядом с ним.

Брат проконсула, неизменно любезный и доброжелательный к людям наиболее скромного положения, хотел было извиниться, но лежащий человек не дал ему для этого времени:

— Смотри лучше, куда ставишь ноги, болван, — закричал он ему, — да подай милостыню философу Посохару.

— Я вижу суму и палку, — отозвался, улыбаясь, римлянин. — И не вижу еще философа.

Но когда он уже хотел бросить серебряную монету Посохару, Аполлодор удержал его руку.

— Воздержись, Анней, это не философ, это даже не человек.

— Но, — ответил Мела, — если я; даю ему деньги, то я человек, и он человек, если берет их. Потому что изо всех животных только человек способен на такие вещи. И неужели ты не видишь: За один динарий я убеждаюсь, что стою больше его. Твой учитель говорит, что дающий лучше получающего.

Взяв монету, Посохар изверг на Аннея Мелу и его спутников поток грубых ругательств, обзывая их гордецами, развратниками и отсылая их к проституткам и жонглерам, которые проходили мимо них, покачивая бедрами.

Затем, раскрыв до пупа свое волосатое тело и натянув на лицо лохмотья своего плаща, он вновь растянулся на мостовой во всю свою длину.

— Не интересуетесь ли вы, — спросил своих спутников Лоллий, — послушать, как евреи излагают в претории предмет своей ссоры?

Они ответили ему, что не имеют никакого желания знать этого, и что они предпочитают прогуливаться под портиком в ожидании проконсула, который не замедлит притти.

— В таком случае, друзья, я сделаю то же, — сказал Лоллий. — Мы от этого ничего не потеряем.

— К тому же, — прибавил он, — евреи, пришедшие сюда из Кенхреи, чтобы сопровождать

тяжущихся, не все ушли в базилику. Вот один из них, друзья мои! Его легко узнать по горбатуму носу и всклокоченной бороде. Он мечется, точно Пифия.

Лоллий пальцем и взглядом указал на худого и бедно одетого чужеземца, который голосил под портиком среди насмешливой толпы:

— Люди коринфские, тщетно полагаетесь вы на вашу мудрость, она не более безумия. Вы слепо следуете предписаниям вашей премудрости, не соблюдаете естественного закона, и бог, чтобы наказать вас, предал вас протиестественным порокам.

Матрос, который приблизился к кругу любопытных, узнал этого человека, так как пробормотал, пожимая плечами:

— Это Стефан, кенхрейский еврей, который принес какую-то необыкновенную новость из своего пребывания на облаках, куда он поднимался, если верить ему.

А Стефан поучал народ:

— Христиане свободны от закона и от похоти. Они избавлены от проклятия милосердием Божиим, который послал своего единственного сына принять грешную плоть, чтобы уничтожить грех. Но вы спасетесь только тогда, когда, порвав с плотью, будете жить исключительно в духе. Евреи соблюдают закон и верят, что спасутся своими делами. Но спасает вера, а не дела. К чему послужит им обрезание, если сердца их не обрезаны? Люди коринфские, имейте веру, и все вы войдете в семью Авраамову.

Толпа начинала смеяться и потешаться над этими темными речами. Но еврей продолжал пророчествовать замогильным голосом. Он возвещал о великом гневе и об огне-истребителе, который пожрет мир.

— И все это сбудется при мне, — вопил он, — и я увижу это своими глазами. Пришел час пробудиться от сна. Ночь прошла, близится день. Святые будут восхищены на небеса, а те, кто не веруют в распятого Христа, — погибнут.

Потом, пообещав воскрешение телес, он стал взывать к Анастасис[11], среди шуток смешливой толпы.

В это время булочник Милон, человек с зычным голосом, член коринфского сената, в продолжение нескольких минут слушавший еврея, приблизился к нему, взял его за руку и, груба тряхнув, сказал:

— Перестань, презренный, перестань пороть эту чушь! Все это детские сказки и чепуха, способная соблазнить только ум женщин. Как можешь ты на основании своего бреда молоть такой вздор, отрекаясь от всего прекрасного и находя удовольствие только в плохом, не извлекая даже пользы из всей своей ненависти! Брось свои нелепые видения, свои извращенные намерения, спои мрачные пророчества из страха, чтобы кто-нибудь из богов не отправил тебя на корм воронам, в наказание за твои проклятия этому городу, и империи.

Граждане рукоплескали словам Милона.

— Он правильно говорит! — закричали они. — У этих сирийцев только одно на уме: они, хотят ослабить наше отечество. Они враги Цезаря!

Многие взяли с лотка торговцев фруктами тыквы и плоды рожкового дерева, другие подобрали пустые устричные раковины и запустили ими в апостола, который все еще пророчествовал.

Сброшенный с портика, он шел по Форуму под гиканье и ругательства, осыпaeмый ударами,

измазанный нечистотами, окровавленный, наполовину голый и кричал:

— Учитель сказал: мы — отребие мира!

И он ликовал от радости.

Дети преследовали его по кенхрейской дороге, крича:

— Анастасис! Анастасис!

Посохар не спал. Как только удалились друзья проконсула, он приподнялся на локте. Сидевшая в нескольких шагах от него Иоэсса зубами молодой собаки грызла скорлупу морской иглы. Циник подозвал ее и сверкнул серебряной монетой, которую он только что получил. Потом, приведя в порядок свои лохмотья, он поднялся, обул сандалии, подобрал палку, суму и стал спускаться по ступенькам. Иоэсса подошла к нему, взяла у него из рук дырявую суму, которую взвалила себе на плечи с такой важностью, будто несла дары божественной Киприде, и последовала за стариком.

Аполлодор видел, как они шли по кенхрейской дороге, направляясь к кладбищу рабов и месту казни, заметному издали по туче воронья, носившегося над крестами. Философ и молоденькая девушка знали там куст ежевики, всегда не замятый и удобный для Эрота.

Заметив это, Аполлодор потянул Мелу за край тоги.

— Посмотри, — сказал он ему, — эта собака едва получила твою милостыню, как уж потащила девчонку развратничать.

— Это значит, — ответил Мела, — что я дал деньги такому человеку, которому деньги пришлись очень кстати.

А маленький Коматас, сидевший на горячей мостовой, смеялся, глядя, как блестит на солнце камушек, и посасывал свой большой палец.

— Впрочем, — продолжал Мела, — ты должен признать о, Аполлодор, что его способ любить не самый нефилософский. Эта собака, конечно, умнее наших молодых палатинских развратников, которые предаются любви среди ароматов, смеха и слез, то томно, то яростно.

Пока он говорил, дикий рев поднялся в претории, оглушив уши грека и трех римлян.

— Клянусь Поллуксом, — воскликнул Лоллий, — тяжущиеся, которых судит сегодня наш Галлион, орут, как грузчики, и мне кажется, что сквозь двери вместе с их хрюканьем к нам несется смрад пота и лука.

— Совершенно верно, — сказал Аполлодор, — но если бы Посохар был философом, а не собакой, то вместо того, чтобы приносить жертву Венере перекрестков, он избегал бы всей женской породы и привязался бы только к юноше, внешнюю красоту которого он созерцал бы только, как выражение красоты внутренней, более благородное и драгоценной.

— Любовь, — сказал Мела, — страсть омерзительная. Она смущает согласие, разбивает великодушные намерения и сводит мысли наиболее высокие к заботам наиболее низменным. Пребывание ее в здравом рассудке невозможно, как учит нас о том поэт Еврипид...

Мела не кончил. Проконсул, предшествуемый ликторами, раздвигавшими толпу, вышел из базилики и приблизился к своим друзьям.

— Я был разлучен с вами не долго, — сказал он. — Дело, которое меня позвали рассудить,

было совершенно ничтожное и очень забавное. Войдя в преторию, я нашел ее наводненной пестрой толпой евреев, которые продают морякам в Кенхрейском порту, в вонючих лавках, ковры, ткани, мелкие золотые и серебряные украшения. Они наполнили воздух пронзительным визгом и лютым козлиным запахом. Трудно было уловить смысл их слов, и мне понадобилось сделать усилие, чтобы понять, что один из говоривших евреев зовется Сосфеном, что он глава синагоги, и что он обвиняет в нечестии другого еврея. Этот последний был крайне уродливый, кривоногий, с гноящимися глазами. Звать его не то Павлом, не то Савлом. Он уроженец Тарса, промышляет с некоторых пор в Коринфе ремеслом ткача, и объединился со своими товарищами, изгнанными из Рима, для совместного изготовления палаточной ткани и киликийских одежд из козьей шерсти. Говорили они на скверном греческом языке и все сразу. Мне все-таки удалось понять, что этот Сосфен вменяет в преступление этому Павлу его приход в дом, где коринфские евреи обычно собираются по субботам и где он взял слово, чтобы склонить своих единоверцев и их последователей к служению богу способом, противоречащим их закону. Слушать их дальше мне было нечего. Не без труда заставив их замолчать, я объяснил им, что, приди они жаловаться мне на какую-нибудь несправедливость или какое-нибудь насилие, от которых им пришлось пострадать, я бы выслушал их терпеливо и со всем необходимым вниманием, но поскольку дело идет исключительно о ссоре из-за слов и о расхождении в определениях их закона, это меня не касается, и я не могу быть судьей в деле подобного рода. Потом я отпустил их с такими словами: «Распутывайте свои споры сами, как хотите».

— А что же сказали они? — спросил Кассий. — Охотно ли подчинились они столь мудрому приговору?

— Не в природе хамья, — отвечал проконсул, — наслаждаться мудростью. Эти люди приняли мой приговор с недовольным ропотом, на которой, как вы понимаете, я не обратил никакого внимания. Я оставил их, когда они кричали и дрались у подножия трибуны. Насколько я мог видеть, наибольшее число ударов досталось истцу. Если мои ликторы не наведут порядка, он так и не встанет с пола. Эти портовые евреи; весьма невежественны и, как большинство невежд, не способны поддержать рассуждением справедливость того, что они думают, и могут спорить только пинками и кулаками.

Друзья маленького, уродливого еврея, с гноящимися глазами, которого зовут Павлом, видимо, очень наловчились в подобных богословских состязаниях. Великие боги! Как убедительно доказали они свое превосходство на старосте синагога, осыпая его градом ударов и топча его ногами! Впрочем, я не сомневаюсь, что друзья Сосфена, окажись сильнее, поступили бы с Павлом так же, как друзья Павла поступили с Сосфеном.

Мела поздравил проконсула:

— Ты сделал хорошо, о, брат мой, предоставив этим презренным сутягам решать дело по-своему.

— Мог ли я поступить иначе? — возразил Галлион. — Как мог бы я разобрать дело Сосфена с Павлом, когда и тот и другой одинаково нелепы и глупы? Если я отношусь к ним с презрением, то не думайте, друзья мои, что оно возникает из-за их слабости и бедности, из-за того, что Сосфен грязен и провонял соленой рыбой, или что Павел потерял и пальцы и ум за тканьем ковров и полотна для палаток. Нет! Филимон и Бавкида были бедны, но достойны величайших почестей. Боги не отказывались садиться за их скудный стол. Мудрость возвышает раба над его господином. Что говорю? Добродетельный раб превосходит богов. Сравнившись с ними мудростью, он превосходит их красотой своего усилия. Эти евреи презренны только потому, что грубы и что ни малейшего признака образа божьего не сверкает в них.

При этих словах Марк Лоллий улыбнулся.

— Действительно, боги, — сказал он, — не посещают сирийцев, которые живут в гавани среди торговцев фруктами и проституток.

— Варвары, и те, — продолжал проконсул, — имеют некоторое понятие о богах. Не говоря уже об египтянах, которые в древние времена были людьми, полными благочестия, нет в богатой Азии народа, который бы не воздавал культа или Юпитеру, или Диане, или Вулкану, или Юноне, или матери Энеад[12]. Они дают этим божествам престранные имена, смутные образы, иногда приносят им и человеческие жертвы, но они признают их могущество. Одни евреи не ведают провидения богов. Не знаю, так же ли суеверен и этот Павел, которого сирийцы называют еще и Савлом, так же ли он упрям в своих заблуждениях, как и все остальные? Не знаю, какое темное представление составил он себе о бессмертных богах, да, по правде сказать, мне это и не интересно. Чему можно научиться у тех, кто ничего не знает? Это значило бы поучаться у невежества. На основании нескольких путанных речей, которые он держал передо мной, в ответ своему обвинителю, я мог понять, что он отделился от священников своего народа, что он отвергает веру евреев и поклоняется Орфею под чуждым именем, которого я не запомнил. На это предположение меня навело то обстоятельство, что он с уважением говорил о каком-то боге, или, вернее, герое, который сошел в подземное царство и вновь поднялся к дневному сиянию, проблуждав среди бледных теней опочивших. Может быть, он посвятил себя культу Меркурия подземного. Но я скорее предположил бы поклонение Адонису, так как мне показалось, что он, подобно библейским женщинам, оплакивал страдания и смерть бога.

Азиатские земли изобилуют этими юношами — богами, умирающими и воскресающими. Сирийские куртизанки привезли в Рим нескольких из них, и эти небесные юноши нравятся женщинам больше, чем это подобает порочным женщинам. Наши матроны, не краснея, справляют потихоньку их таинства. Моя Юлия, такая сдержанная и благоразумная, много раз спрашивала меня, как об этом думать? Что это за бог, — отвечал я ей возмущенно, что это за бог, если ему нравится боязливое поклонение замужней женщины? Женщина не должна иметь друзей, кроме друзей своего мужа. А разве боги не являются нашими первыми друзьями?

— Этот человек из Тарса, — спросил Аполлдор, — уж не поклоняется ли Тифону, которого египтяне называют Сотхом? Говорят, что бог с ослиной головой в чести у одной из еврейских сект. Этот бог может быть только Тифоном, и я не удивляюсь, если кенхрейские ткачи поддерживают тайные сношения с бессмертным, который, по донесению нашего милого Марка, оросил пирожницу небесной мочей.

— Я не знаю, — сказал Галлион. — Правда, рассказывают, что многие сирийцы собираются для тайного отправления культа бога с ослиной головой. И возможно, что Павел принадлежит к ним. Но что нам Адонис, Меркурий, Орфей или Тифон этого еврея? Он будет царить только над предсказательницами, ростовщиками и теми гнусными торговцами, которые в морской гавани обирают моряков. Самое большое, что он сумеет завоевать, — это несколько кучек рабов в предместьях больших городов.

— Э! Э! — вскричал Марк Лоллий, раздражаясь смехом. — Представляете ли вы себе этого отвратительного Павла основателем религии рабов? Клянусь Кастором, это будет отличное нововведение. Если бы случайно бог рабов (Юпитер, отвори это предсказание!) взобрался бы на Олимп и разогнал бы богов империи, что стал бы он делать сам? Как будет он управлять изумленным миром? Любопытно было бы видеть его за работой. Несомненно, он продлит сатурналии на весь год. Он откроет гладиаторам путь к почестям, посадит субурских проституток в храме Весты и сделают столицу мира, может быть, из какого-нибудь злосчастливого сирийского местечка.

Лоллий так и не перестал бы шутить, если бы Галлион не остановил его.

— Марк, не надейся увидеть эти чудесные новшества, — сказал он. — Правда, что люди способны на большие безумия, но все-таки этот маленький еврейский ткач не соблазнит их ни своими сказками о сирийском Орфее, ни скверным греческим языком. Рабский бог способен возбуждать только мятеж и гражданские войны, которые скоро будут утоплены в крови, а он сам скоро погибнет вместе со своими поклонниками в амфитеатре от зубов диких зверей, под рукоплескание римского народа.

— Оставим Павла и Сосфена. Их мысли ничем не помогут поискам, которыми мы занимались перед тем, когда нас так злополучно прервали. Мы старались познать то будущее, которое готовят нам боги, не для вас, мои дорогие друзья, и не для меня в частности (потому что мы готовы вынести все, что будет), но для родины и человеческого рода, к которым мы питаем любовь и жалость. И не этот обойщик-еврей с воспаленными веками сможет назвать нам, что бы ни думал об этом Марк, имя бога, который свергнет Юпитера.

Галлион прервал свою речь, чтобы отпустить своих ликторов, которые неподвижно стояли перед ним со своими топорами [13] на плече.

— Мы не нуждаемся в этих розгах и топорах, — сказал он, улыбаясь. — Слово — наше единственное оружие. Да наступит день, когда и вселенная не будет знать иного. Если вы не устали, пойдите, друзья мои, к Пиренскому источнику. На полудороге мы найдем древнее смоковное дерево, под которым, говорят, обманутая Медея обдумывала свою жестокую месть. Коринфяне чтут это дерево в память этой ревнивой царицы и вешают на него дощечки со своими обетами, так как Медея делала им только добро. Побега этого дерева укоренились в земле и до сих пор увенчаны густою листвою. Сидя в его тени и беседуя, мы подождем часа купанья.

Дети, устав преследовать Стефана, играли в бабки на обочине дороги. Апостол шел большими шагами, когда близ лобного места он встретил толпу евреев, шедших из Кенхрен узнать о решении проконсула относительно синагоги. Это были друзья Сосфена. Они были сильно раздражены против тарасского еврея и его товарищей, желавших изменить закон. Заметив человека, рукавом утиравшего залепленные кровью глаза, они узнали его, и один из них спросил его, дернув за бороду, не Стефан ли он, товарищ Павла?

Он ответил с гордостью.

— Его вы видите перед собой.

Но он уже был повален, и его топтали ногами. Евреи подбирали камки, крича:

— Это богохульник! Побьем его камнями!

Двое наиболее ревностных выкапывали верстовой камень, положенный римлянами, и старались метнуть его, Камни с глухим шумом ударялись о покрытые только кожей кости апостола, который вопил:

— О, наслаждение рая, о, радость казни! О, прохлада мучений! Я вижу Иисуса!

В нескольких шагах старик Посохар в кусте ежевики, под журчанье ручья, сжимал в объятиях гладкие бедра Иоэссы. Потревоженный шумом, он проворчал голосом, заглушенным кудрями девушки.

— Бегите, мерзкие скоты, и не мешайте забавам философа!

Несколько мгновений спустя центурион, который проходил по пустынной дороге, поднял Стефана, заставил его выпить глоток вина и дал ему тряпку перевязать раны.

Между тем Галлион, сидя со своими друзьями под деревом Медеи, говорил:

— Если вы хотите знать преемника властелина людей и богов, обдумайте слова поэта: «Зачнет супруга Зевса сына, что отца сильнее!».

Эти слова указывают не на божественную Юнону, но на славнейшую из смертных, с которой соединился Юпитер, столь часто менявший свой образ и привязанности. Мне кажется несомненным, что управление вселенной должно перейти, к Геркулесу. Мнение это уж давно утвердилось в моем сознании на основаниях, почерпнутых не только у поэтов, но также у философов и ученых. Я, так сказать, заблаговременно приветствовал воцарение сына Алкмены в развязке моей трагедии «Геркулес на Эте», которая завершается такими стихами:

«О, ты, великий победитель чудовищ и умиротворитель мира, благоприятствуй нам. Взгляни на землю, и, если какое-нибудь еще невиданное чудовище ужаснет людей, истреби его молнией. Ты лучше отца своего умеешь метать перуны!»

Я жду благополучия от будущей власти Геркулеса. В земной жизни своей он выказал терпеливую и направленную к возвышенным мыслям душу. Он победил чудовищ. Когда он вооружит свои руки громами, он не даст новому Каю безнаказанно управлять империей.

Добродетель, древняя простота, храбрость, невинность и мир будут царить вместо с ним. Вот мое предсказание!

И Галлион, встав, отпустил своих друзей со словами:

— Будьте здоровы и любите меня.

### III

Когда Николь Ланжелье кончил читать, птицы, о которых предупреждал Джакомо Бони, покрыли пустынный Форум дружественными криками.

Небеса расстилали над римскими развалинами пепельные покровы вечера: молодые лавры, посаженные вдоль Священной дороги, простирали в легкий воздух ветви, черные, как старинная бронза, а палатинские склоны затягивались лазурью.

— Ланжелье, вы не выдумали этой повести, — сказал господин Губэн, которого не легко было провести. — Процесс, возбужденный Сосфеном против святого Павла перед судилищем Галлиона, проконсула Ахайи, приводится в «Деяниях апостолов».

Николь Ланжелье охотно согласился с этим.

— Там он и приведен, — сказал он, — в главе восемнадцатой и занимает стихи от двенадцатого до семнадцатого, которые я могу вам прочесть, так как я выписал их на одном из листков моей рукописи.

И он прочел:

— «12. Между тем во время проконсульства Галлиона в Ахайе напали иудеи единодушно на Павла и привели его перед судилище.

13. Говоря, что он учит людей чтить бога не по закону.

14. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: «Иудеи, если бы дело шло о



какой-нибудь обиде или злом умысле, то я имел бы причину выслушать вас.

15. Но когда идет спор об учении и именах и законе вашем, то разбирайтесь сами: я не хочу быть судьей в этом».

16. И прогнал их от судилища.

17. А все, схвативши Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галлион нимало не беспокоился о том».

Я не присочинил ничего, — прибавил Лангелье. — Об Аннее Меле и Галлионе, брате его, нам известно очень мало. Несомненно однакоже, что они считались одними из просвещеннейших людей своего времени. Когда Ахайя, сенатская провинция при Августе, а при Тиверии — императорская, при Клавдии была вновь возвращена сенату, Галлион был послан туда в качестве проконсула. Этой должностью он, конечно, был обязан тому доверию, каким пользовался брат его Сенека, но, может быть, его избрали за знание греческой литературы и как человека приятного тем афинским учителям, умом которых римляне восхищались. Он был весьма образован и написал книгу, посвященную вопросам естествознания; думают, что он сочинял и трагедии. Работы эти полностью утрачены, разве только кое-что из его вещей вошло в тот сборник трагических декламаций, который без достаточных оснований приписывался его брату, философу. Я предположил, что он был стойком и по целому ряду вопросов сходилась со своим знаменитым братом. Это в высшей степени вероятно. Но тем не менее, влагая ему в уста добродетельные и строгие речи, я остерегся приписать ему какую-либо законченную теорию. Римляне того времени примешивали идеи Эпикура к идеям Зенона. Я не слишком рисковал ошибиться, приписав Галлиону такой эклектизм. Я изобразил его человеком приятным. Несомненно, он таким и был. Сенека говорит о нем, что мало любить его не мог никто. Мягкость это распространялась на всех. Он любил почести.

Напротив, брат его Анней Мела их избегал. На этот счет у нас есть свидетельства Сенеки-философа и Тацита. Когда мать троих Сенек, Гельвия, овдовела, знаменитнейший из ее сыновей сочинил для нее маленький философский трактат. В одном месте этой работы он увещевает ее подумать о том, что ее связывают с жизнью такие дети, как Галлион и Мела, различные по характеру, но равно достойные ее любви.

«Обрати свой взор на моих братьев, — так приблизительно говорит ей он. — Пока они живы, можно ли тебе винить свою судьбу? Оба они своими различными добродетелями усладят твою скорбь. Галлион в силу своих талантов достиг почестей. Мела пренебрег ими по своей мудрости. Услаждайся почетом одного, спокойствием другого, любовью их обоих. Мне ведомы скрытые побуждения моих братьев. Галлион ищет почестей для того, чтобы украсить ими тебя. Мела избирает себе спокойную, безмятежную жизнь, чтобы целиком посвятить ее тебе».

Тацит, который в дни царствования Нерона был еще ребенком, не знал Сенек. Он только собрал ходившие о них в его время слухи. Он говорит, что если Мела избегал почестей, то лишь в силу утонченного честолюбия, и чтобы, оставаясь обыкновенным римским всадником, сравняться значением с консулами. Поуправляв лично обширными поместьями, имевшимися у него в Бетике, Мела явился в Рим и добился, что его назначили управителем владений Нерона. Из этого заключили о его ловкости в делах и стали даже подозревать, что он не так бескорыстен, как желал бы казаться. Это возможно: Сенек, выставявшие напоказ свое презрение к богатствам, обладали ими, тем не менее, в огромных размерах, и не легко поверить воспитателю Нерона, когда он утверждает, что среди великолепной домашней обстановки и садов он верен дорогой ему нищете. Однако все три сына Гельвии обладали незаурядными душами. Мела имел сына от Атиллы — своей жены. Это был поэт Лукан. Талант Лукана, повидимому, придал много блеска имени его отца. Литература была тогда в

большой чести, а поэзия и красноречие выше всего.

Сенека, Мела, Лукан, Галлион погибли вместе с сообщниками Пизона[14]. Философ Сенека был уже стар. Тацит, хотя и не бывший свидетелем его смерти, рисует нам, однако, ее картину. Мы узнаем от него, как наставник Нерона открыл себе вены в ванне, и как его молодая жена Паулина решила умереть вместо с ним тою же смертью. По приказанию Нерона, Паулине перевязали жилы, которые она велела себе открыть у кистей рук. Она выжила, но на всю жизнь осталась смертельно бледной. Тацит рассказывает, что молодой Лукан под пыткой донес на мать. Будь даже эта низость несомненна, ответственность за нее следовало бы прежде всего отнести на жестокость пытки. Но есть основания не верить этому. Если мука и вырвала у него имена некоторых заговорщиков, то имени Атиллы он не произнес; это явствует из того, что Атиллу не тронули, в то время как всякому доносу верили слепо.

После смерти Лукана Мела вступил во владение наследством сына чересчур поспешно и чересчур усердно. Один из друзей молодого поэта, сам, несомненно, метивший на это наследство, выступил обвинителем против Мелы. Отца выставляли посвященным в тайну заговора и составили подложное письмо Лукана. Прочитав это письмо, Нерон приказал отнести его Меле. По примеру своего брата и стольких других жертв Нерона, Мела велел открыть себе жилы, завещав предварительно крупную сумму денег вольноотпущенникам Цезаря, чтобы таким образом сохранить остальное для несчастной Атиллы. Галлион не пережил своих двух братьев. Он умертвил себя.

Так трагически погибли эти приятные и образованные люди. Двоих из них, Галлиона и Мелу, я заставил беседовать в Коринфе. Мела много путешествовал; его сын Лукан еще ребенок посетил Афины, когда Галлион был проконсулом Ахайи. С моей стороны, таким образом, было вполне допустимо предположить, что Мела находился тогда в Коринфе вместе со своим братом. Я придумал, что проконсула сопровождало двое молодых римлян знатного рода и один философ из ареопага. В этом я не погрешил чрезмерной вольностью, ибо наместники прокураторы, пропреторы, проконсулы, которых император и сенат посылали управлять провинциями, всегда имели при себе знатных молодых людей, которые сопровождали наместников, чтобы учиться делам на их примере, и людей утонченного ума, в роде моего Аполлодора, служивших им секретарями, по большей части из вольноотпущенников. Наконец я отчетливо представил себе, что как раз в то время, когда святок Павел был приведен к римскому суду, проконсул и его друзья свободно беседовали на самые разнообразные темы: об искусстве, философии, религии, политике, и что сквозь их разностороннюю пытливость проглядывал непрестанный интерес к будущему. Могло и на самом деле случиться так, что в тот день, как и в любой другой, они пытались раскрыть грядущие судьбы Рима и мира. Галлион и Мела считались в рядах наиболее высоких и свободных умов эпохи. Такие значительные умы обычно расположены искать отношений будущего на основании прошедшего и настоящего. У самых ученых и осведомленных людей, каких только я встречал: у Ренина, Бертло, я замечал определенное стремление ронять в случайном ходе разговора рационалистические утопии и научные пророчества.

— Итак, — сказал Жозефин Леклерк, — вот один из образованнейших людей времени, человек, изощренный в философских умозрениях, испытанный, в ведении государственных дел; его ум настолько свободен, настолько широк, насколько это доступно уму римлянина; это — Галлион, брат Сенеки, краса и свет своего века. Он беспокоится о будущем, он старается понять то движение, которым увлекается мир, исследует судьбы империи и богов. И в этот-то момент, благодаря единственной игре счастья, он встречается со святым Павлом; то будущее, которого он ищет, проходит перед ним, и он его не узнает. Вот пример ослепления, которое поражает при неожиданно открывшейся истине умы наиболее просвещенные, сознания наиболее проникновенные.

— Милый друг, прошу вас заметить себе, — возразил Николь Ланжелье, — что Галлиону не легко было разговаривать со святым Павлом. Трудно себе представить, как бы они могли

обмениваться мыслями, Святой Павел изъяснялся так, что его с большим трудом понимали даже люди, жившие и думавшие, приблизительно, в роде него. Он никогда не обращался к образованным людям. Он не имел никакой подготовки, нужной, чтобы развивать свою мысль и следить за мыслью собеседника. Он не знал греческой науки. Галлион, который привык разговаривать с образованными людьми, привык издавна пользоваться доводами разума. Правила раввинов были ему неизвестны. О чем могли говорить друг с другом эти два человека?

Из этого не следует, что еврею было вообще трудно беседовать с римлянином. Тиберию и Каллигуле нравился язык, каким с ними разговаривали Ироды. Иосиф Флавий и царица Береника обращались к Титу, разрушителю Иерусалима, с приятными для него речами.

Нам хорошо известно, что среди евреев всегда находились лица, бывшие в милости у антисемитов. То были мешумеды[15]. Павел был наби[16]. Этот страстный, гордый сириец, презрительно относившийся к таким благам, каких добиваются все люди, алчущий нищеты, гордящийся оскорблениями и унижениями, всю свою радость полагающий в страданиях, — умел только вещать о своих пламенных и мрачных видениях, о своей ненависти к красоте и жизни, о своем безумном гневе и буйном милосердии. Вне этого сказать ему было нечего. По правде, я вижу только один предмет, на котором он мог сойтись с проконсулом Ахайи. Это — Нерон.

В то время святой Павел, наверное, еще ничего не слышал о молодом сыне Агриппины, но узнай он, что Нерон предназначен править империей, тотчас же сделался бы неронианцем. Он и стал им впоследствии. Он продолжал быть им и после того, как Нерон отравил Британника. Не потому, что он был способен одобрить братоубийство, но он питал безграничное уважение к правительству. «Всякий да повинуется властям предержащим, — писал он своим церквам. — Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от нее». Галлион нашел бы, может быть, эти изречения несколько простоватыми и немного пошлыми, но в целом он не мог бы их отвергнуть. Но если и была тема, которую он, наверное, не пожелал бы затронуть в беседе с еврейским ткачом, то это именно Тема об управлении народами и императорской власти. Еще раз: что же могли эти два человека сказать друг другу?

В наши дни, когда какой-нибудь европейский чиновник в Африке, если вам угодно, суданский генерал-губернатор его величества британского короля или наш алжирский губернатор встречаются с факиром или марабутом, то разговор поневоле ограничивается немногими темами. Святой Павел являлся для проконсула тем же самым, чем марабут для нашего алжирского губернатора. Разговор между Галлионом и святым Павлом был бы, как я себе представляю, слишком похож на разговор генерала Дезэ с дервишем. После битвы у пирамид генерал Дезэ во главе тысячи двухсот всадников пустился в погоню за мамелюками Мурад-бея, по Верхнему Египту. Во время своего пребывания в Джирдже он услышал, что поблизости от этого города живет старый дервиш, слывающий среди арабов великим ученым и святым. Дезэ не был чужд ни философии, ни гуманности. Любопытствуя познакомиться с человеком, уважаемым своими ближними, он велел позвать дервиша в главный штаб, оказал ему почетный прием и с помощью переводчика вступил с ним в беседу: «Почтенный старец, французы пришли в Египет, чтобы даровать ему правосудие и свободу». — «Я знал, что они придут» — отвечал дервиш. — «Откуда ты это знал?» — «По солнечному затмению». — «Каким образом могло солнечное затмение осведомить тебя о передвижении наших армий?» — «Затмения происходят оттого, что архангел Гавриил становится перед солнцем, чтобы возвестить верующим о грозящих им несчастьях». — «Почтенный старец, ты не знаешь настоящей причины затмения: я объясню ее тебе». Тут же, схватив огрызок карандаша и клочек бумаги, он начертил фигуры: «Через А обозначим солнце, В — луну, С — землю, и так далее». Закончив свои объяснения, он оказал: «Вот теория солнечного затмения». Но дервиш продолжал что-то бормотать. «Что он там говорит?» — спросил генерал у переводчика. — «Генерал, он говорит, что затмения происходят оттого, что архангел Гавриил становится

перед солнцем». — «Да он фанатик!» — вскричал генерал Дезэ. И, пнув его ногой в зад, выгнал вон.

Я представляю себе, что если бы между святым Павлом и Галлионом завязался разговор, то он окончился бы приблизительно так же, как диалог дервиша с генералом Дезэ.

— Но надо сказать, — заметил Жозефин Леклерк, — между святым апостолом Павлом и дервишем генерала Дезэ имеется та разница, что дервиш не навязывал своей веры всей Европе. И согласитесь с тем, что почтенный суданский губернатор его величества, конечно, не встречал такого марабута, которому было бы суждено дать свое имя обширнейшему собору Лондона; согласитесь еще с тем, что нашему алжирскому губернатору не пришлось иметь дела с основателем религии, предопределенной стать верою и исповеданием большинства французов. Перед глазами этих чиновников грядущее не вставало в человеческом образе. А проконсул Ахайи видел его воочию.

— Это не давало Галлиону, — ответил Ланжелье, — большей возможности вести со святым Павлом последовательный разговор на любую высокую нравственную или философскую тему. Я знаю хорошо, да и вам, конечно, небезызвестно, что около пятого века христианской эры существовало предположение, что Сенека познакомился в Риме со святым Павлом и восхищался учением апостола, Этот миф мог привиться только при том печальном помрачении человеческого ума, которое так скоро последовало за временами Тацита и Трояна. Чтобы придать ему правдоподобность, подделыватели, какими тогда кишела христианское общество, смастерили переписку, и блаженный Иероним и блаженный Августин отзываются об этой переписке с почтением. Если эти письма — те самые, какие до нас дошли за подписью Павла и Сенеки, то остается предположить что эти отцы церкви или не читали их, либо имели мало проницательности. Это — нелепое произведение христианина, ничего не знающего об эпохе Нерона и решительно не способного подражать стилю Сенеки. Нужно ли говорить, что великие средневековые ученые твердо верили и в реальность этих отношений и в подлинность этих писем? Но гуманистам Возрождения не составило большого труда доказать ложность и неправдоподобность этих вымыслов. Не важно, что Жозеф де-Местр подобрал и их вместе с прочим старым хламом. Никто уже не обращает на это внимания, и теперь один лишь авторы изящных романов, предназначенных для великосветской публики, сочетая в себе спиритуализм и ловкость, заставляют апостолов церкви вести длинейший разговоры с философами и щеголями императорского Рима и излагать восхищенному Петронику самые свежие красоты христианства. Диалог Галлиона, только что вами слышанный, содержит в себе меньше прикрас и больше правды.

— Не отрицаю этого, — возразил Жозефин Леклерк, — и, по-моему, действующие лица этого диалога думают и говорят так, как они должны были думать и говорить в действительности, — у них нет иных детей, кроме их времени. В этом, мне кажется, и заключается достоинство выслушанной нами вещи, и именно потому я рассуждаю о ней так, как если бы опирался на исторический текст.

— Можете совершенно спокойно, — сказал Ланжелье. — Я не внес ничего такого, чего не мог бы подтвердить ссылкой.

— Отлично! — продолжал Жозефин Леклерк. — Итак, мы только что слышали, как греческий философ и несколько начитанных римлян сообща исследовали грядущие судьбы своей родины, человечества и земли, пытаясь открыть имя преемника Юпитера. Пока они отдаются этим тревожным изысканиям, среди них появляется апостол нового бога, и они им пренебрегают. Я говорю, что в этом они проявляют странное отсутствие проницательности и упускают по своей вине единственный в своем роде случай изучить именно то, что им так хотелось знать.

— Дорогой друг, вам кажется ясным, — отвечал Николь Ланжелье, — что Галлион, сумей он

только за это взяться, добился бы от святого Павла разгадки будущего. Это в самом деле может быть первое соображение, которое приходит на ум, и многие при нем остались. Излагая на основании «Деяний» это своеобразное свидание Галлиона и святого Павла, Ренан не далек от того, чтобы в презрении проконсула к представшему перед его судилищем еврею из Тарса видеть признак узкого и поверхностного ума. Он пользуется этим случаем, чтобы пожаловаться на плохую философию римлян. «Как непредусмотрительны бывают иногда умные люди! — восклицает он. — Распря между этими отвратительными сектантами, как выяснилось впоследствии, была величайшим делом века». Ренан словно верит, что проконсулу Ахайи нужно было только выслушать ткача, для того, чтобы тотчас же постичь ту духовную революцию, которая подготовлялась в мире, и проникнуть в тайну грядущего человечества. Итак, без сомнения, судят все на основании первого впечатления. Однако, прежде чем выносить решение, приглядимся ближе к тому, чего ждали тот и другой, и посмотрим, который из двух, в конце концов, оказался лучшим пророком?

Прежде всего Галлием думал, что молодой Нерон будет императором-философом, станет править согласно идеям стоической школы, сделается утешением рода человеческого. Он ошибался, и причины его ошибки слишком ясны. Его брат Сенека был воспитателем сына Агриппины; его племянник, маленький Лукан, был на короткой ноге с молодым наследником. Интересы семейные, равно как и собственные, связывали проконсула с судьбой Нерона. Он верил, что Нерон будет превосходным императором потому, что этого хотел он. Заблуждение имеет своим источником скорей слабость характера, чем погрешность разума. Впрочем, Нерон был в то время еще весьма кротким юношей, и первые годы его правления не должны были обмануть надежды философов. Во-вторых, Галлион верил, что после наказания парфян на земле воцарится мир. Он ошибался, потому что не знал подлинных размеров земли. Он неправильно полагал, что *Orbis Romanus* [17] простирался на весь земной шар: что обитаемый мир кончался у горячих или ледяных побережий, у рек, гор, песков и пустынь, которых достигли римские орлы, и что германцы и парфяне обитали на окраинах вселенной. Хорошо известно, сколько крови и слез обошлось империи это заблуждение — общее всем римлянам. В-третьих, Галлион, доверяясь оракулам, верил в вечность Рима. Он ошибался, если толковать его пророчества в узком и буквальном смысле. Он не ошибался, если принять во внимание, что Рим — Рим Цезаря и Трояна — передал нам свои обычаи и законы, и что современная культура исходит из культуры римской. Именно здесь, на этом царственном месте, где мы сейчас стоим, с высоты роstralной трибуны и в курии решалась судьба вселенной и задуманы формы, в которых и по сей день заключена жизнь народов. Наша наука основана на науке греческой, которую передал в наши руки Рим. Пробуждение античной мысли в XV веке в Италии, в XVI — во Франции и Германии, возродило Европу к знанию и разуму. Ахейский проконсул не ошибался. Рим не умер, потому что он живет в нас.

В-четвертых, рассмотрим философские идеи Галлиона. Он, несомненно, был не слишком силен в физике и не всегда с должной точностью толковал естественные явления. Метафизику применял он как римлянин — то-есть без всякой тонкости. В философии он ценил, в сущности, только ее полезность и особое внимание обращал на вопросы морали. Передавая его речи, я не извратил и не прикрасил их. Я показал его человеком серьезным и ограниченным, недурным учеником Цицерона. Вы слышали, как посредством весьма жалких рассуждений он примирял учение стоиков с национальной религией. Чувствуется, что, рассуждая о природе богов, он заботился о том, чтобы остаться хорошим гражданином и честным чиновником. Но в общем он думает, он рассуждает. Его представления о силах, управляющих вселенной, в сущности, рационалистичны и научны и в этом отношении совпадают с нашими представлениями. Он рассуждает хуже своего друга, грека Аполлодора, но не хуже профессоров нашего университета, преподающих независимую философию и христианский спиритуализм. По свободе духа, по твердости ума, он кажется нашим современником. Его мысль естественно обращена в том направлении, но которому следует в настоящее время человеческий дух. Не станем же говорить, что он заблуждался в вопросе о духовном будущем человечества.

Что же касается святого Павла, то он предвещал будущее; никто в этом не сомневается. Тем не менее он ожидал воочию увидеть кончину мира и огненную гибель всего сущего. Эту гибель вселенной предвидели и Галлион к стоику в столь отдаленном будущем, что это не мешало им провозглашать вечность империи, Павел же считал ее близкой и готовился к этому великому дню. Он ошибался, и, согласитесь, одна эта ошибка крупнее, чем все ошибки Галлиона и его друзей, вместе взятые. Еще важнее для нас то, что свою удивительную веру Павел не подкрепил ни одним наблюдением, ни одним доводом. Наук он не знал и презирал их. Чуждый всякой культуре, он предавался самому низкопробному кудесничеству и кликушеству.

В сущности, о будущем, равно как о прошлом и настоящем, проконсул ничего не мог узнать от апостола, ничего, кроме лишь одного имени. Даже если бы проконсул знал, что Павел исповедует религию Христа, то и это не дало бы ему понятия о будущем христианства, которому суждено было всего через несколько лет освободиться почти совершенно от идей Павла и первых апостолов. Таким образом, если не останавливаться на литургических текстах, лишенных их первоначального смысла, и на чисто словесных построениях богословов, не трудно заметить, что святой Павел предугадывал будущее хуже, нежели Галлион, и можно предположить, что, вернись апостол сегодня в Рим, он был бы изумлен сильнее проконсула.

В новом Риме святой Павел узнал бы себя на колонне Марка Аврелия, не в большей степени, чем своего старого врата Кифу на колонне Трояна. Купол святого Петра, стансы Ватикана, великолепие церквей и папская помпа — все оскорбляло бы его подслеповатые глаза. Он напрасно искал бы последователей в Лондоне, Париже, Женеве. Он не понял бы ни католиков, ни реформаторов, цитирующих наперерыв его подлинные и мнимые послания. Не более понятными были бы для него и свободные от всякой догмы умы, основывающие свои взгляды на тех двух силах, которые он презирал и ненавидел больше всего: науке и разуме.

Увидав что сын человеческий не пришел, он разодрал бы свои одежды и посыпал бы голову пеплом.

Ипполит Дюфрен вмешался:

— Нет никакого сомнения, — сказал он, — что в Риме или Париже святой Павел изображал бы собой нечто в роде совы при дневном свете. Здесь он был бы способен общаться с культурными европейцами не более, чем бедуин из пустыни. Он чувствовал бы себя на чужбине в доме епископа, где, в свою очередь, не признали бы его. Остановись он у швейцарского пастора, вскормленного на его писаниях, он удивил бы его первобытной суровостью своего христианства. Это так, но вспомните, что он был семитом, что он был чужд латинскому мышлению, германскому и саксонскому гению — тем расам, из которых вышли богословы, которые путем подложного смысла, вопреки смыслу и просто нелепо отыскивали какой-то смысл в его подложных посланиях. Вообразите его в чуждом ему мире — в мире, который ни в каком случае не может стать ему близким, и это нелепое предположение вызовет немедленно целый ряд самых диких образов. Можно, например, представить себе этого странствующего ткача в карете кардинала и позабавиться зрелищем двух столь противоположных друг другу человеческих существ. Уж если вам угодно воскрешать святого Павла, имейте достаточно вкуса, чтобы поставить его снова в условия его расы и страны, среди семитов Востока, мало изменившихся за двадцать веков и для которых Библия и Талмуд содержат в себе всю человеческую мудрость. Поставьте его среди дамасских или иерусалимских евреев, сведите его в синагогу, — там он без удивления услышит поучение своего наставника Гамалиила. Он станет спорить с раввинами, будет ткать козью шерсть, питаться финиками и горстью риса, будет строго следовать закону, а потом вдруг решит его разрушить. Он станет гонителем и гонимым, палачем и жертвой — с совершенно одинаковым пылом. Евреи из синагоги займутся его отлучением, будут дудеть в козлиный рог и капать воском черных свечей в таз, наполненный кровью. Он стойко перенесет этот ужасный обряд и

будет прилагать всю энергию неугомонной души в своей мучительной и ежеминутно угрожаемой жизни. На этот раз он, вероятно, будет известен только немногим невежественным и противным евреям. Но все же это будет Павел, и Павел во всей своей цельности.

— Возможно, — сказал Жозефин Леклерк, — но вы согласитесь с тем, что святой Павел был одним из главных основателей христианства и мог бы сообщить Галлиону несколько драгоценных указаний относительно великого религиозного движения, совершенно не известного проконсулу.

— Тот, кто творит религию, не ведает, что творит, — возразил Ланжелье. Я скажу почти то же самое и про всех основателей великих человеческих учреждений: монашеских орденов, страховых обществ, национальных гвардий, трестов, синдикатов, академий и консерваторий, гимнастических обществ, народных столовых и конференций. Все эти учреждения, по большей части, спустя немного времени, перестают соответствовать намерениям их основателей, и случается, что они становятся к ним даже в прямое противоречие. Все же, и после долгих лет можно рассмотреть в учреждениях некоторые признаки их первоначального назначения. Что же касается религии, по крайней мере у народов, жизнь которых беспокойна, а мысль подвижна, то они видоизменяются непрестанно по воле чувств и интересов последователей и служителей данной религии, так что через немного лет не остается ничего от духа, их первоначально создавшего. Боги изменяются больше людей, потому что форма у них менее точная, а живут они куда дольше. Некоторые, старея, становятся лучше, другие с годами портятся. Божество становится неузнаваемым менее, чем в одно столетие. Христианский бог преобразился, быть может, более всякого другого, вероятно, до той причине, что он принадлежал поочередно весьма различным цивилизациям и расам: латинянам, грекам, варварам, всем народам, возникшим на обломках Римской Империи. Конечно, расстояние, отделяющее неуклюжего Аполлона Дедала от классического Бельведерского, — велико. Еще большая разница между Христом — эфебом катакомб и аскетическим Христом наших соборов. Этот герой христианской мифологии поражает количеством и разнообразием своих превращений. За пламенеющим Христом святого Павла следует с второго века Христос синоптиков — бедный еврей, со смутными склонностями к коммунизму, но почти немедленно — в четвертом евангелии — он становится каким-то молодым александрийцем, весьма слабым учеником гностиков. Дальше, беря только римские типы Христа и останавливаясь лишь на наиболее известных, мы будем иметь: властолюбца Христа Григория VII, кровавого Христа святого Доминика, Христа — предводителя наемных солдат Юлия II, Христа — атеиста и художника Льва X, покладистого и двусмысленного Христа иезуитов, Христа — покровителя заводов, защитника капитализма и врага социализма, процветающего при папстве Льва XIII, его же царство еще не кончилось. Всех этих Христов, похожих друг на друга только по имени, святой Павел не предусматривал. В сущности, о будущем более ему известно было не более, чем Галлиону.

— Вы преувеличиваете, — сказал господин Губэн, не любивший никаких преувеличений.

Джиакомо Бони, который почитал священные книги всех народов, заметил тогда, что ошибка Галлиона, ошибка римских философов и историков состояла в том, что они не знали священных книг иудеев.

— Римляне, будь они осведомленнее, — сказал он, — не сохранили бы несправедливых предубеждений против религии Израиля; и, как говорит ваш Ренан, в этих вопросах, затрагивающих интересы всего человечества, — немного доброй воли и лучшая информация, быть может, предотвратили бы ужасные недоразумения. Не было недостатка в таких образованных евреях, как, например, Филон, которые могли объяснить римлянам закон Моисея, если бы только римский ум обладал большею широтой и более ясным предчувствием будущего. У римлян было отвращение и страх перед азиатской мыслью. Если даже они имели основание ее бояться, они были не в праве ее презирать. Презирать

опасность — большая глупость. Относясь к сирийским религиям, как к преступным вымыслам и нечестию, Галлион обнаружил недостаток проницательности.

— Но как могли бы эллинизированные иудеи научить римлян тому, чего они сами не знали? — спросил Ланжелье. — Каким образом, честный, ученый, но ограниченный Филон мог бы раскрыть им темную, смутную и сложную мысль Израиля, которая ему самому была неизвестна? Что сообщил бы он Галлиону о вере иудеев, кроме глупых литературных домислов? Он сказал бы, что учение Моисея, вполне согласуется с философией Платона. В те времена, так же, как и теперь, образованные люди не имели никакого представления о том, что делается в сознании масс. Невежественные толпы всегда творят себе богов без ведома просвещенных людей.

Одним из самых странных и самых значительных событий истории является завоевание мира богом одного из сирийских племен, — победа Иеговы над богами Рима, Греции, Азии и Египта. Иисус, в конце концов, был не более, чем наби и последний из пророков израильских. О нем ничего не известно. Мы не знаем ни как он жил, ни как он умер, так как евангелисты никоим образом не являются биографами. А приписываемые ему нравственные воззрения в действительности исходят от целой толпы одержимых, пророчествовавших в эпоху Ирода.

То, что зовут победой христианства, точнее было бы назвать победою юдаизма, и именно Израилю досталась особая привилегия даровать миру бога. Нужно признать, что Иегова до многим причинам заслужил честь своего внезапного возвышения. К тому времени, когда он достиг своего самодержавия, он был лучшим из всех богов. Начал он плохо. Про него можно сказать то же; самое, что историки говорят про Августа: что с годами его нрав смягчился. В ту эпоху, когда израильтяне рассеялись по обетованной земле, Иегова был бестолковым, свирепым и невежественным, жестоким, грубым, косноязычным, самым глупым и самым злым из богов. Однако под влиянием пророков он изменился весь и во всем. Он перестал быть консерватором, формалистом, обратился к миролюбивым мыслям и мечтам о правосудии. Народ его был несчастен. Он ощутил глубокую жалость ко всем несчастным и хотя, в сущности, он попрежнему остался настоящим евреем и подлинным патриотом, он, становясь революционером, силой вещей делался международным. Он превратился в защитника всех униженных и угнетенных. Его посетила одна из тех простых мыслей, которыми приобретают сочувствие всего мира. Он возвестил всеобщее счастье — пришествие Мессии, благодетеля и миротворца. Его пророк Исаия подсказал ему очаровательно поэтические и непобедимо сладостные слова на эту восхитительную тему: «Дом Иеговы воздвигнется на вершине горы и возвысится над холмами. Тогда потекут к нему все народы, и бесчисленные люди посетят его, говоря: взойдем на гору господню, в дом бога Иаковлсва, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона изыдет закон, и слово господне — из Иерусалима. И будет он судить народы и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Тогда волк будет жить вместе с ягненок. И телец, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их...» В Римской империи бог иудеев обращался ко всем несчастным. А во времена Тиберия и Клавдия в империи было гораздо больше несчастных, чем счастливых. Там было множество рабов. Одному человеку принадлежало иногда десять тысяч их. Рабы эти находились по большей части в крайне несчастном положении. Ни Юпитер, ни Юнона, ни Диоскуры ими не занимались. Латинские боги их не жалели. Это были господские богат. Когда из Иудеи явился бог, который вслушивался в жалобы всех униженных, угнетенных прониклись к нему обожанием. Так религия Израиля сделалась религией всего римского мира. Вот чего ни Павел, ни Филон не могли объяснить проконсулу Ахайи, потому что они и сами в этом не разбирались. Вот чего не мог обнаружить и Галлион. Он чувствовал однако же, что господство Юпитера близится к концу, и возвестил воцарение другого, лучшего бога. По любви к национальным древностям он взял этого бога из греко-латинского Олимпа, а в силу аристократических чувств он выбрал бога, находящегося в кровном родстве с Юпитером. Вот почему он указал не на Иегову, а на Геракла.



— На этот раз, — сказал Жозефин Леклерк, — признайтесь, что Галлион ошибался.

— Менее, чем вы полагаете, — улыбаясь, ответил ему Ланжелье. — Иегова или Геракл — это не важно. Поверьте мне, что сын Алкмены управлял бы миром, не иначе чем отец Иисуса. Какой он ни на есть олимпиец, а не миновать ему было стать богом рабов и воспринять религиозный дух новых времен. Боги очень точно приспосабливаются к чувствам своих поклонников: у них на это есть свои причины. Обратите внимание на это. Не один только народный дух, но и дух философов благоприятствовал воцарению в Риме бога Израиля. Почти все философы тогда были стоиками и верили в того единого бога, над которым поработал Платон и который никакой связью — ни семейной, ни дружеской — не был соединен с человекоподобными богами Греции и Рима. Своей бесконечностью этот бог походил на бога иудеев. Почитатели его, Сенека и Эпиктет, первые изумились бы этому сходству, если бы они были в состоянии сделать это сравнение. Однакоже они сами много содействовали тому, чтобы сделать приемлемым суровые иудейско-христианское единобожие. Конечно, далеко было стоической гордыне до христианского смирения, но своей скорбью и своим презрением к природе мораль Сенеки подготавливала мораль евангельскую. Стоики поссорились с жизнью и с красотой; этот разрыв, приписываемый христианству, был начат уже философами. Два столетия спустя, во времена Константина, язычники и христиане сделаются обладателями в полном смысле слова одной и той же морали, одной и той же философии. Император Юлиан, восстановивший древнюю религию империи, уничтоженную Константином-Отступником, не даром слывет соперником Галилеянина. И когда читаешь маленькие трактаты Юлиана, прямо поражаешься тому множеству общих с христианами идей, которые имел этот враг христианства. Подобно им, он монотеист; подобно им, он верит в заслуги воздержания, поста и умерщвления плоти; подобно им, он презирает плотские удовольствия и думает угодить богам тем, что не приближается к женщинам, и, наконец, он доводит свои христианские чувства до того, что радуется своей грязной бороде и черным ногтям. У императора Юлиана была почти та же мораль, что и у святого Григория-Назианзина. Все это только естественно и обыкновенно. Превращение нравов и идей никогда не совершается внезапно. Наибольшие изменения в общественной жизни происходят нечувствительно и становятся заметными только на расстоянии. Те, кто им подвергается, о них не подозревают. Христианство утвердилось только тогда, когда нравы к нему приспособились, и само оно приспособилось к состоянию нравов. Оно получило возможность заместить язычество лишь тогда, когда язычество стало на него походило, а оно само стало похоже на язычество.

— Согласимся на том, — сказал Жозефин Леклерк, — что ни святой Павел, ни Галлион не читали в будущем. Никто еще не читал. Не сказал ли один из ваших друзей: «Будущее сокрыто даже от тех, которые его делают»?

— Наше знание того, что будет, — возразил Ланжелье, — находится в зависимости от того, что мы знаем о сущем и бывшем. Наука обладает даром прорицания. Чем наука точнее, тем больше точных пророчеств можно из нее извлечь. Науки математические, которые лишь одни обладают совершенной точностью, сообщают часть своей точности тем наукам, которые вытекают из них. Так с помощью математической астрономии и химии делаются точные предсказания. Вы можете высчитывать затмения на миллионы лет вперед, не боясь, что ваши заключения окажутся ложными, пока солнце, луна и земля находятся в тех же отношениях массы и расстояния. Вы можете также предвидеть и то, что эти отношения изменятся в весьма отдаленном будущем. На небесной механике основывают еще одно пророчество, а именно, что светило с серебряными рогами не вечно будет описывать вокруг нашего земного шара все тот же круг, и что те причины, которые в настоящее время действуют, силой повторности изменят его путь. Вы можете возвестить, что солнце потемнеет и будет возноситься над вашими океанами лишь как съездившийся шар, если только в дальнейшем к нему не начнут присоединяться новые вещества, способные ему дать питание, что очень возможно, так как оно обладает способностью привлекать к себе рои

астероидов, как паук — мух. Вы можете, одна-коже, утверждать, что оно погаснет и что распавшиеся фигуры созвездий одна за другой исчезнут в черном пространстве. Но что значит смерть одной звезды? Потухание искры. Пусть все светила неба погаснут подобно тому, как засыхают полевые травы, — какое значение имеет это для жизни вселенной, раз составляющие ее бесконечно малые элементы сохраняют в себе ту же силу, которая создает и разрушает миры? Вы можете предсказать и более полную смерть вселенной, смерть атома, распад последних элементов материи, времена, когда протил, бесформенный туман, восстановит свою бесформенную власть на развалинах всех вещей. И это будет лишь паузой божественного дыхания. Все начнется сызнова.

Миры возродятся. Они возродятся к смерти. Жизнь и смерть будут вечно чередоваться. В безграничности пространства и времени осуществляются все возможные сочетания, и мы снова окажемся сидящими здесь, среди развалин Форума. Но мы не будем знать того, что это мы, и, следовательно, это будем не мы.

Господин Гобэн протер стекла своего пенснэ.

— От таких мыслей можно притти в отчаяние, — сказал он.

— Но на что же вы надеетесь, господин Гобэи? — спросил Николь Ланжелье. — И что нужно для исполнения ваших желаний? Не рассчитываете ли вы сохранить на вечные времена сознание о себе и о мире? Почему вы вечно хотите помнить, что вы господин Гобэн? Не скрою от вас: вселенная в ее настоящем виде, еще далекая от своего конца, навряд ли удовлетворит вас в этом отношении. Не рассчитывайте также и на последующие, которые, без сомнения, окажутся в том же роде. Однако же не теряйте совершенно надежды. Возможно, что по истечении бесчисленно чередующегося ряда вселенных, вы, господин Гобэн, воскреснете с воспоминаниями о ваших предшествующих существованиях. Ренан говорил, что такая возможность есть, и что, во всяком случае, как бы поздно она ни пришла, себя ждать она не заставит. Для нас чередования вселенных совершатся менее, чем в секунду. Для мертвых длительность времени не существует.

— Знакомы ли вам, — спросил Ипполит Дюфрен, — астрономические мечтания Бланки? Старик Бланки, находясь в заключении на Мон-Сен-Мишель, видел сквозь забитое решеткой окно только клочок неба и не имел других соседей, кроме звезд. Он сделался астрономом и, исходя из единства материи и управляющих ею законов, построил странную теорию тождества миров. Я прочел его исследование, страниц в шестьдесят. Там он излагает теорию, по которой форма и жизнь развивается одним и тем же образом во множестве миров. Согласно его мысли, многочисленные солнца, совершенно подобные нашему, освещали, освещают и будут освещать планеты, совершенно подобные планетам нашей системы. Имеется, было и будет бесчисленное количество Венер, Марсов, Сатурнов, Юпитеров, совершенно подобных нашему Сатурну, нашему Марсу, нашей Венере, и земель, совершенно подобных нашей. Эти земли производят в точности то же самое, что производит наша земля, и несут на своей поверхности растения, животных, людей, совершенно тождественных с нашими земными растениями животными и людьми. Эволюция жизни на них тождественна эволюции жизни на нашем земном шаре. Старый узник думал на основании этого, что в пространстве существуют, существовали и будут существовать мириады крепостей Мон-Сен-Мишелей, в каждой из которых заключено по одному Бланки.

— Нам мало известно о тех мирах, солнца которых блещут у нас по ночам, — сказал Ланжелье. — Мы, однако, видим, что, подчиняясь одним и тем же механическим и химическим законам, они отличаются от нашего солнца и различаются в то же время между собой величиной и формой, и что вещества, которые в них сгорают, находятся Там не в равных пропорциях. Эти отличия должны создавать бесконечное множество других отличий, о которых мы не подозреваем. Довольно и камешка, чтобы изменить судьбу целой империи. Но как знать? Может быть, господин Губэн, во множестве существующий и рассеянный по

мириадам миров, вытирал, вытирает и будет вечно и бесконечно вытирать стекла своего пенснэ.

Жозефин Леклерк остановил своих друзей в дальнейших астрономических мечтаниях.

— Как и господин Губэн, — сказал он, — я нахожу, что это все могло бы привести в отчаяние, не являйся оно лично для нас чем-то слишком отдаленным, чтобы стать ощутимым. То, что нас живо интересует и что нам любопытно было бы знать, это судьба тех, которые придут в мир немедленно вслед за нами.

— Несомненно, — сказал Ланжелье, — что чередование вселенных возбуждает в нас только унылое изумление. Более братским и более дружеским взглядом мы окинули бы грядущее цивилизации и ближайшую судьбу подобных нам существ. Чем ближе к нам грядущее, тем больше оно нас волнует. К несчастью, нравственные и политические науки не точны и полны непроверенных данных. Они плохо знают ход уже совершившейся человеческой эволюция, и потому не в состоянии с полной точностью осведомить нас о тех ступенях развития, которые нам остается пройти в будущем. Не имея памяти, они в равной степени не имеют предчувствий. Вот почему научно мыслящие умы испытывают непобедимое отвращение перед попытками таких заведомо тщетных поисков и даже не смеют признаться в любопытстве, удовлетворить которое они не надеются. Охотно задаешься выяснением вопроса, что было бы, если бы люди стали мудрей. Платон, Томас Мор, Кампанелла, Фенелон, Кабэ, Поль Адан строят свои собственные государства в Атлантиде, на острове утопистов, на солнце, в Саленте, в Икарии, у малайцев, и учреждают там отвлеченную форму правления. Другие, как философ Себастиан Мерсье и социалист Уильям Моррис, проникают в отдаленное будущее. Но они прихватывают с собой свои собственные нравственные понятия. Они открывают новую Атлантиду и возводят в ней город своих грез. Стоит ли упомянуть и Мориса Спронка? Он изображает нам, как французская республика покорена жителями Марокко в двести тридцатый год своего основания. Это он делает для того, чтобы убедить нас передать правление консерваторам, которые одни, по его мнению, способны заковать подобное бедствие. В то же время Камилл Моклэр более доверяет грядущему человечеству и видит в будущем победоносную самозащиту социалистической Европы против мусульманской Азии. Даниэль Галеви не боится жителей Марокко. С большим основанием он опасается русских. В своей «Истории четырех лет» он рассказывает о возникновении в две тысячи первом году Европейских Соединенных Штатов. Но он стремится нас убедить особенно в том, что нравственное равновесие народов находится в неустойчивом состоянии; достаточно, может быть, некоторого послабления, неожиданно вошедшего в условия существования, и ужаснейшие бичи, жесточайшие бедствия обрушатся на множество людей.

Мало можно найти людей, которые бы стремились узнать будущей ради чистого любопытства, вне заданий нравственного характера и оптимистических целей. Я знаю только Герберта Уэльса, который, странствуя по грядущим векам, открыл для человечества возможность такого конца, которого, повидимому, он ему не желал: появление пролетариата-людоеда и съедобной аристократии. Крайне грубое решение социальных вопросов. А между тем такова именно судьба, которую Уэльс предсказывает нашим праправнукам. Все остальные известные мне пророки ограничиваются тем, что поручают грядущим векам осуществление своих грез. Они не раскрывают нам будущего, они воруют.

Правда в том, что люди не могут без ужаса заглядывать так далеко; большинство считает, что исследования подобного рода не только ни к чему не нужны, но вредны, а те, кто легче всех верит возможности проникать в будущее, больше всех страшатся в него проникнуть. Нет никакого сомнения в том, что этот страх имеет глубокие основания. Все морали и все религии несут в себе раскрытие человеческих судеб. Признаются ли в этом люди или скрывают это от самих себя, но по большей части они не решились бы подвергнуть проверке эти божественные откровения и обнаружить тщету своих надежд. Они привыкли относиться

спокойно к мысли о нравах, несколько не похожих на их нравы, при условии, что это погребено во мраке минувшего. В таком случае они поздравляют себя с успехами. Достигнутыми моралью их времени. Но так как, в сущности, эта мораль создана в соответствии с их нравами, или, по крайней мере о том, как они проявляются, люди не смеют себе признаться, что мораль, до них беспрестанно менявшаяся вместе с нравами, будет продолжать меняться и после, и что будущие люди смогут себе составить совершенно другое представление о дозволенном и не дозволенном. Им тяжело признаться, что все их добродетели преходящи, и боги бренны. И несмотря на прошедшее, показывающее им непрерывное движение и смену прав и обязанностей, они сочли бы себя одураченными, если бы предвидели, как будущее человечество создаст себе иные права, иные обязанности и иных богов. Наконец они боятся лишиться себя уважения в глазах современников, принимая на себя ту ужасающую безнравственность, какой явится будущая нравственность. Вот препятствия, которые нам мешают исследовать будущее. Посмотрите на Галлиона и на его друзей; они бы не посмели предвидеть классовое равенство в браке, уничтожение рабства, разгром легионов, падение империи, конец Рима и даже смерть богов, в которых они уже не верили.

— Возможно, — сказал Жозефин Леклерк, — но идемте обедать.

И, оставив Форум, купавшийся в спокойном сиянии луны, они по людным улицам города достигли скромного, но известного кабачка на *via Condotti*.

#### IV

Помещение было тесное и оклеенное закопченными обоями времен папы Пия IX. На старинных литографиях по стенам можно было бы видеть и Кавуара в черепаховых очках, с ожерельем из бороды, и львиную голову Гарибальди, и страшные усы Виктора-Эммануила, классическое соединение символов революции и государственной власти, ходячее свидетельство итальянского гения, изощрившего себя в сопоставлениях, так что в Риме наших дней мечущий грома папа и отлученный от церкви король, со свойственным им изысканным политическим тактом и не без склонности к тонкой комедии, ежедневно обмениваются уверениями в добрососедских чувствах. Буфет красного дерева был заставлен грейками накладного серебра и алебастровыми кубками. В этом заведении господствовало то подчеркнутое презрение к новизне, которое подобает давно установившейся репутации.

Там перед бутылками кьянти, вокруг увенчанного розами стола все пятеро продолжали обмениваться философскими мыслями.

— Нельзя не признать, — сказал Николь Ланжелье, — что мужество изменяет многим людям, едва их взоры встречаются с бездной грядущих вещей. К тому же, наше слишком несовершенное знание уже осуществившихся события не дает нам в наше распоряжение элементов, необходимых для точного определения событий, которым предстоит совершиться. Но так как прошлое человеческих обществ нам отчасти известно, то и будущее этих обществ, являясь следствием и продолжением прошлого, не может оставаться для нас совершенно неизвестным. Мы имеем возможность наблюдать определенные общественные явления и по условиям их возникновения определять условия, при которых они снова возродятся. И когда на наших глазах начинает возникать известный ряд фактов, нам не запрещено сравнивать его с уже протекшим рядом аналогичных фактов, и, из того, что последний закончился данным образом, делать вывод о подобном же завершении первого. Например, наблюдай, что формы труда изменчивы, что рабству наследует крепостное состояние, а крепостному состоянию — наемный труд, должно предвидеть новую форму

производства; признав, что промышленный капитал, на протяжении только одного столетия вытеснил мелких собственников, ремесленников и крестьян, становится неизбежным искать ту форму, которая станет на место капитала; изучая способ, каким был проведен выкуп феодальных повинностей и крепостей, понимаешь, каким способом сможет совершиться когда-нибудь выкуп средств производства, составляющих в настоящее время частную собственность. Изучение больших государственных учреждений, работающих в настоящее время, дает некоторое представление о том, каковы будут впоследствии социалистические производства; и рассмотрев подобным образом: достаточно большее число сторон настоящей и прошлой человеческой промышленности, возможно будет на основании, если не достоверности, то вероятности решить, осуществится ли когда-нибудь коллективизм не потому, чтобы он был справедлив, ибо нет никаких оснований верить в торжество справедливости, но просто потому, что он является необходимым следствием настоящего положения вещей и неизбежным исходом капиталистической эволюции.

Возьмем, если угодно, другой пример: у нас имеется некоторый опыт относительно жизни и смерти различных религий. Нам, в частности, недурно известен конец римского многобожия. На основании этого плачевного конца мы можем себе представить, какой будет конец христианства, клонящегося к упадку у нас на глазах.

Таким же образом можно исследовать вопрос, будет ли грядущее человечество воинственным или миролюбивым.

— Хотел бы я знать, как взяться за такое исследование! — сказал Жозефин Леклерк.

Господин Губэн покачал головой.

— Подобное исследование было бы бесполезно. Его результат известен нам заранее. Война будет существовать до тех пор, пока существует мир.

— Ничто этого не доказывает, — отвечал Ланжелье. — Напротив, рассмотрение прошлого дает основание думать, что война не представляет собой существенного условия общественной жизни.

И в ожидании министры, которой долго не подавали, Ланжелье развил эту мысль, не изменяя и на этот раз сдержанности, свойственной его мышлению.

— Хотя начальные эпохи человеческой расы теряются для нас в непроницаемом мраке, однако несомненно, что люди не всегда были воинственными. Они не были такими в течение тех долгих лет пастушеской жизни, воспоминание о которых сохранилось только в небольшом количестве слов, общих всем индоевропейским языкам и говорящих о мягкости нравов. И есть основание полагать, что эти спокойные времена пастушеской жизни длились гораздо долее, чем земледельческие, промышленные и коммерческие эпохи, которые сменили их в неизбежном ходе развития и установили для народов и племен положение более или менее постоянной войны.

Главным образом оружием и приобретались имущество, земли, женщины, рабы, скот. Сначала воевало село с селом. Позднее, побежденные присоединившись к победителям образовали нацию, и войны стали вестись между народами. Чтобы сохранить добытые богатства или приобрести себе новые, каждый из этих народов оспаривал у соседних удобные для обороны места, с высоты которых можно господствовать над дорогами, горными проходами, течением рек, морскими побережьями. Наконец народы стали образовывать союзы, заключать договоры. Так группы людей, более и более обширные, вместо того, что бы оспаривать друг у друга земные блага, стали вести правильный обмен. Расширилась общность чувств и интересов. Было время, когда Риму казалось, будто он распространил ее на весь мир. Август воображал, что открывает эру всеобщего мира.

— Хорошо известно, как постепенно я жестоко была рассеяна эта иллюзия, и как волны варваров затопили «римский мир». Утвердясь в империи, эти варвары на ее развалинах в продолжение четырнадцати столетий резали друг друга и этой резней положили основание своим кровавым отечествам. Такова была жизнь народов в средние века, и так были основаны великие европейские монархии.

Состояние войны было в те времена единственно возможным, единственно мыслимым. Все общественные силы были организованы только для того, чтобы его поддерживать.

Если во время Возрождения пробуждение мысли позволило некоторым избранным умам представить себе возможность более упорядоченных отношений между народами, то страсть к изобретениям и жажда знания вместе с тем доставили воинственному инстинкту новую пищу.

Открытие Восточной Индии, исследование Африки, плавание по Тихому океану открыли жадности европейцев огромное поприще. Белые государства стали оспаривать друг у друга право на уничтожение красных, желтых, черных рас, и в течение четырех столетий неистовствовали в грабеже трех великих частей света. Это и называется современной цивилизацией.

В течении этой непрерывной смены грабежей и насилий европейцы начали узнавать объем и наружный облик земли. По мере того как они двигались дальше в этом познании, они распространяли и свое разрушение. Белые еще и теперь вступают в общение с мерными и желтыми только для того, чтобы поработить их или вырезать. Народы, которые мы называем варварскими, знают нас пока только по нашим преступлениям.

А между тем все эти мореплавания и исследования, предпринятые в духе жестокой алчности, эти земные и морские пути, открытые победителям, искателям приключений, охотникам за людьми и торговцам людей, эти человекоистребительные колонизации, это движение насилия, побуждавшее и до сих пор еще побуждающее одну часть человечества истреблять другую, — все это — роковые условия нового прогресса цивилизации и вместе с тем ужасные средства, приготовляющие всеобщий мир для какого-то, еще неопределенного, будущего.

На этот раз вся земля приведена к такому положению, какое, при всей громадности различий, можно сравнить с состоянием Римской империи времен Августа. Римский мир был делом завоевания. Нет никакого сомнения, что всеобщий мир не осуществится тем способом, каким был осуществлен тогда. В настоящее время нет империи, которая могла бы притязать на гегемонию над землями и океанами, покрывающими собой наконец изученный и измеренный земной шар. Но увы, которые теперь начинают объединять собой уже не одну какую-нибудь часть человечества, а все человечество в его целом, обладают не меньшей реальностью оттого, что они менее заметны, чем узы политического и военного господства; в тоже время они более гибки и одновременно более прочны — они более интимны и бесконечно более многообразны, потому через все фикции политики они вырастают из реальных отношений социальной жизни.

Все растущее множество способов общения и обмена, вынужденная солидарность всех столичных финансовых рынков, торговые рынки, которые тщетно стремятся обеспечить себе независимость негодными средствами, быстрый рост интернационального социализма, — все это должно, повидимому, рано или поздно обеспечить единение народов всех материков. И если сейчас империалистический дух больших государств и высокомерное честолюбие вооруженных нации, казалось бы, опровергают такие предположения и разрушают подобные надежды, то на дело приходится убедиться и том, что весь современный национализм представляет собой не что иное, как смутное стремление к все более и более широкому единению сознаний и воле, и что мечта о большой Англии, большой Германии, большой Америке ведет, несмотря на все противоречивые желания и поступки, к мечте о большом

человечестве, к мечте о союзе народов и рас во имя совместной разработки естественных богатств.

Хозяин самолично принес дымящуюся миску и тертый сыр.

И среди горячего и ароматного пара Николь Ланжелье закончил свое рассуждение в следующих выражениях:

— Конечно, войны еще будут. Дикие инстинкты в соединении с прирожденной жадностью, гордость и голод, столько веков смущавшие мир, будут смущать его и в будущем. Человеческие массы еще не отыскивали условий своего равновесия. Развитие народов еще не достаточно методично для того, чтобы всеобщее благополучие было обеспечено свободой и легкостью обмена: человек еще не везде уважает человека: отдельные части человечества еще не готовы для гармоничного соединения, чтобы образовать клеточки и органы единого тела. Даже самым молодым из нас не дано видеть конца вооруженной эры. Но мы предчувствуем те лучшие времена, которых нам не суждено увидеть. Продолжая в будущее начатую кривую, мы можем заранее определить установление более постоянных и более совершенных сношений между всеми расами и всеми народами, более общее и более сильное чувство человеческой солидарности, рациональную организацию труда и основание Соединенных Штатов всего мира.

Всеобщий мир осуществится когда-нибудь не потому, что люди станут лучше (на это нельзя надеяться), но потому, что новый порядок вещей, Новая наука, новые экономические потребности навяжут состояние мира, так же, как прежде самые условия существования поддерживали состояние войны.

— Николь Ланжелье, в ваш стакан осыпалась роза, — сказал Джакомо Бони. — Это случилось не без соизволения богов. Выпьем за будущий мир всего мира.

Жозефин Леклерк поднял стакан.

— Это кианти пикантно и слегка пенится. Выпьем же за мир в то время, когда русские и японцы ожесточенно дерутся в Манчжурии и Корейском заливе.

— Эта война, — снова заговорил Ланжелье, — отмечает собою один из великих часов всемирной истории. И чтобы уяснить ее смысл, нужно отступить на две тысячи лет в прошлое.

Несомненно, что римляне не подозревали о размерах варварского мира и не имели никакого представления о тех громадных человеческих резервуарах, которым в один прекрасный день суждено было прорваться и затопить их. Им не приходило в голову, что во вселенной может быть еще какой-нибудь мир, кроме римского. А, между тем, такой существовал, к тому же он был и древней и обширней, это — мир китайский.

Не то чтобы их купцы не торговали с купцами Серики[18]. Китайские купцы доставляли шелк-сырец в некую местность, расположенную к северу от Памирского плоскогорья и носившую название Каменной Башни. Туда приезжали и купцы римской империи. Более предприимчивые латинские торговцы проникали в Тонкинский залив и доходили по китайскому побережью до Хан-Чак-Фу, или Ханоя. Все же римляне не думали, что Серика представляет собою империю, гуще населенную, богаче, развитее в смысле земледельческом и политико-экономическом, чем их собственная. Китайцы, со своей стороны, знали белых людей. В их летописях упоминается, что император Ан-Тхун, в котором мы узнаем Марка Аврелия Антонина, отправил к ним посольство, бывшее, по всей вероятности, не чем иным, как экспедицией мореплавателей и купцов. Но китайцы не знали, что на другой стороне того шара, одну из сторон которого они занимали, находится цивилизация более подвижная и бурная, более плодотворная и бесконечно более способная

к распространению; будучи опытными земледельцами и садовниками, ловкими и честными купцами, они жили счастливее благодаря своим системам обмена и обширным кредитным объединениям. Довольствуясь своей утонченной наукой, изысканной вежливостью, своей чисто человеческой набожностью и неподвижной мудростью, они, разумеется, не стремились знать, как живут и думают белые люди из страны Цезаря. И, может быть, послы Ан-Тхуна показались им грубоватыми и диковатыми.

Обе великие цивилизации, желтая и белая, продолжали не замечать друг друга до того дня, когда португальцы, обогнув мыс Доброй Надежды, завели торговлю с Макао. Христианские купцы и миссионеры утвердились в Китае и стали там всячески грабить и насильничать. Китайцы терпели их со спокойствием людей, привыкших к кропотливым работам и способных выносить самое дурное обращение, но все же при случае убивали их со всей изощренностью утонченной жестокости. Иезуиты поднимали в Срединной Империи непрерывные беспорядки триста лет кряду. Если теперь в этой огромной стране возникают беспорядки, то христианские нации, согласно установившемуся обычаю, сообща или порознь посылают туда солдат, которые путем краж, насилий, грабежей, убийств, поджогов наводят порядок и время от времени продолжают с помощью пушек и ружей работу «мирного проникновения в страну». Безоружные китайцы не защищаются или защищаются плохо, их истребляют с приятной легкостью. Они вежливы и церемонны, но их упрекают в недостатке симпатии к европейцам. У нас есть по отношению к ним претензии, сильно напоминающие претензии господина Дю-Шайлю к своей горилле. Господин Дю-Шайлю застрелил в лесу из карабина гориллу-мать. Уже мертвая, она все еще сжимала в объятиях своего детеныша. Он оторвал детеныша от матери и поволок за собой в клетке через Африку, чтобы продать его в Европе. Но это юное животное давало ему полное право жаловаться. Оно было необщительно и уморило себя голодом. «Я был бессилён, — говорит господин Дю-Шайлю, — исправить его природную злобность». Мы жалуемся на китайцев с таким же основанием, как господин Дю-Шайлю — на свою гориллу.

Когда в 1901 году в Пекине был нарушен порядок, армии всех пяти великих держав под начальством немецкого фельдмаршала восстановили спокойствие обычными средствами. Покрыв себя, таким образом военной славой, эти пять держав подписали один из бесчисленных трактатов, гарантировавших неприкосновенность того самого Китая, провинции которого они разделили между собой согласно тому же договору. На долю России досталось занять Манчжурию и закрыть Корею для японской торговли. Япония, в 1894 году победившая Китай на суше и на море, в 1901 году участвовавшая в «мирном воздействии» держав, со скрытой яростью смотрела, как надвигается прожорливая и неповоротливая медведица. И в то время, как громадный зверь лениво протягивал морду к японскому улью, желтые пчелы осыпали его жгучими укусами.

— «Это — колониальная война», — вот точное выражение одного крупного русского чиновника в разговоре с моим другом Жоржем Бурдоном. Но основной принцип всякой колониальной войны состоит в том, что европеец сильнее того народа, с которым сражается; без этого условия война не может считаться колониальной, — это ясно, как день. В такого рода войнах полагается, чтобы европеец нападал с помощью артиллерии, а азиат или африканец защищался стрелами, палицами и томагавками. Допустимо, чтобы дикарь раздобыл себе несколько старых кремневых ружей и несколько патронташей — это придает большие славы колонизации. Но он ни в коем случае не должен быть вооружен и обучен по-европейски. Флот его состоит из джонок, пирог и долбленных челнов. Если он купил корабли у европейских арматоров, оказывается, что суда эти уже вышли из употребления. Китайцы, снабжающие свои арсеналы фарфоровыми бомбами, остаются в точных пределах правил о колониальной войне.

Японцы от них уклонились. Они воюют согласно принципам, преподаваемым во Франции генералом Бонналем. Они значительно превосходят своих противников знанием и пониманием. Сражаясь лучше европейцев, они не считаются с освященными временем



обычаями и действуют некоторым образом наперекор человеческому праву.

Напрасно серьезные люди, в роде Эдмонда Тэри, доказывали им, что они должны быть побеждены ради высших интересов европейского рынка и в согласии с наиболее точно доказанными экономическими законами. Напрасно проконсул Индо-Китая, сам господин Думер убеждал их подвергнуться в кратчайший срок решительным поражениям на суше и на море. «Какая финансовая грусть омрачит наши сердца, — восклицал этот великий человек, — если Безобразов и Алексеев не выкачают больше ни одного миллиона из корейских лесов. Они — цари. Я сам был таким же царем: наши интересы совпадают. О, японцы, подражайте кротости меднолицых народов, над которыми я славно царствовал при президенте Мелине». Напрасно доктор Шарль Рише доказывал им со скелетом в руках, что они прогнаты[19], и что не имея достаточно развитых мускулов на икрах, они обязаны удирать на деревья от русских, которые являются брахицефалами[20], и в качестве таковых носителями высшей цивилизации, что ими было доказано потоплением пяти тысяч китайцев в Амуре. «Берегитесь! Вы представляете собой промежуточное звено между обезьяной и человеком, — предупредительно говорил им господин профессор Рише. Из этого следует, что если вы побьете русских, иначе говоря, финно-летто-угрославян, это будет тоже самое, как если бы вас побили обезьяны. Слышали?» Они ничего не хотели слушать.

Русские расплачиваются в этот момент на японских морях и в ущельях Манчжурии не только за свою хищную и грубую восточную политику, но и за колониальную политику всей Европы. Они искупают не только свои преступления, но преступления всего военного и торгового христианства. Этим я не хочу сказать, что на свете есть справедливость, но бывают странные обстоятельства: сила, пока еще единственный судья человеческих поступков, совершает порой неожиданные скачки. Ее резкие отклонения нарушают равновесие, которое казалось устойчивым. А ее игра, всегда протекающая не без скрытых правил, приводит к любопытным ходам. Японцы переходят Ялу и наверняка бьют русских в Манчжурии. Их моряки элегантно уничтожают европейский флот. Мы тотчас же увидели грозящую нам опасность. Если же она существует, кто ее создал? Не японцы лезли к русским. Сейчас мы открыли желтую опасность. Вот уже много лет, как азиаты знакомы с белой опасностью. Разгром Летнего дворца, избиение в Пекине, потопление в Благовещенске, расчленение Китая, — разве все это не достаточные основания для беспокойства китайцев? А разве; японцы чувствовали себя безопасно под пушками Порт-Артура? Мы создали белую опасность. Белая опасность создала опасность желтую. Именно такие сцепления обстоятельств придают древней «необходимости», ведущей мир, видимость божественного правосудия. Люди дивятся изумительному поведению этой слепой владычицы людей и богов, наблюдая, как Япония, раньше столь жестокая к китайцам и корейцам, Япония, бесплатная сообщница европейских преступлений в Китае, становится мстителем за Китай и надеждой желтой расы.

Тем не менее, на первый взгляд не кажется, что желтая опасность, которой пугаются европейские экономисты, может сравниться с белой опасностью, нависшей над Азией. Китайцы не посылают в Париж, Берлин, Санкт-Петербург миссионеров обучать европейцев фунг-чю и вносить беспорядок в европейские дела. В Киберонской бухте не высаживался китайский экспедиционный корпус с целью требовать от республиканского правительства экстерриториальности, то-есть права разбирать в трибунале мандаринов дела китайцев с европейцами. Адмирал Того не пытался бомбардировать двенадцатью броненосцами Брестский порт с целью покровительства японской торговле во Франции. Цвет французского национализма, сливки наших смутьянов-черносотенцев не осаждали китайского и японского посольств в особняках на авеню Гош и Марсо, и поэтому маршал Ояма не приводил в отместку соединенные войска Дальнего Востока на бульвар Мадлэн и не требовал наказания смутьянов-черносотенцев, ненавидящих иноземцев. Он не поджигал Версалья во имя высшей цивилизации. Войска великих азиатских держав не увезли в Токио и Пекин луврских картин и посуды Елисейского дворца.

Нет! Сам господин Эдмонд Тэри признает, что желтые недостаточно цивилизованы для того,

чтобы столь точно подражать белым. И он не предвидит, чтобы они могли подняться до столь высокого уровня моральной культуры. Разве возможно, чтобы они овладели нашими добродетелями? Они — не христиане. Но компетентные люди полагают, что желтая опасность, будучи экономической, не является вследствие этого менее страшной. Япония и Китай, организованный Японией, угрожают создать нам на всех мировых рынках ужасную, чудовищную, огромную и уродливую конкуренцию, при одной мысли о которой у экономистов, волосы встают дыбом. Вот почему японцы и китайцы должны быть уничтожены.

Сомневаться в этом не приходится. Но необходимо объявить войну и Соединенным Штатам, чтобы помешать американским металлургам продавать железо и сталь дешевле, чем это делают наши фабриканты, не имеющие такой высокой техники.

Скажем же хоть раз правду. Перестанем на минуту себе льстить. Старая Европа и Европа Новая (вот настоящее название Америки) затеяли экономическую войну. Каждая нация ведет промышленную борьбу с другими нациями. Производство всюду бешено вооружается против производства. Мы имеем бестактность жаловаться при виде того, как на беспорядочном мировом рынке появляются новые конкурирующие товары. К чему стоны? Мы признаем только право сильного. Если Токио окажется слабейшим, оно будет виновато, и мы дадим ему это почувствовать; если оно окажется сильнейшим, оно будет право, и мы не будем иметь оснований его упрекать. Есть ли на свете хоть один народ, имеющий Право поднимать голос во имя справедливости?

Мы научили японцев капиталистическому режиму и войне. Они нас пугают тем, что становятся похожими на нас. И это на самом деле достаточно ужасно. Они защищаются от европейцев европейским оружием. Их генералы, их флотские офицеры, получившие образование в Англии, в Германии, во Франции, делают честь своим учителям. Некоторые из них прошли курс наших технических школ. Великие князья, опасавшиеся, что из наших военных учреждений, слишком демократических на их взгляд, ничего путного не выйдет, могут успокоиться.

Я не знаю, каков будет исход войны. Русская империя противопоставляет методической энергии японцев своя безграничные силы, подавленные дикой глупостью ее правительства, расхищаемые бесчестною администрацией и предаваемые бездарностью военного командования. Она показала меру своего бессилия и глубину своей дезорганизации. Тем не менее ее денежные запасы, поддерживаемые богатыми кредиторами, почти неисчерпаемы. Враги ее, напротив, могут рассчитывать только на трудные ростовщические займы, которые могут и не дать, как раз вследствие их побед. Ведь англичане и американцы согласны оказывать им помощь для того, чтобы ослабить Россию, но не для того, чтобы сами японцы стали могущественными и опасными. Нельзя предвидеть решительной победы ни одной из воюющих сторон. Но если Япония заставит белых относиться с уважением к желтым, она этим самым послужит на пользу человечеству и подготовит неведомо для себя и, конечно, против собственного желания мирную организацию вселенной.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил господин Губэн, подняв нос от тарелки, наполненной чудесным жарким.

— Опасаются, — продолжал Николь Ланжелье, — что развившаяся Япония воспитает Китай, что она научит его защищаться и эксплуатировать свои богатства. Есть опасение, что она создает сильный Китай. В интересах вселенной этого не следует бояться, а, наоборот, нужно желать. Сильные народы содействуют мировому богатству и мировой гармонии. Слабые народы, как Китай и Турция, являются постоянной причиной смуты и опасностей. Но мы слишком спешим с опасениями и надеждами. Если торжествующая Япония возьмется за организацию старой желтой империи, это не так-то скоро ей удастся. Для того, чтобы Китай узнал, что существует Китай, нужно время. Ибо он этого не знает, а пока он этого не знает, — Китая не будет. Народ существует только благодаря ощущению своего существования.

Триста пятьдесят миллионов китайцев существуют, но не знают об этом. Пока они не подсчитают себя, они не будут итти в счет. Они не будут существовать даже в смысле количественном. «Рассчитайся!» — вот первое приказание сержанта-инструктора солдатам. И этим он преподает им общественные принципы. Но триста пятидесяти миллионам человек требуется много времени для того, чтобы рассчитаться. Во всяком случае, Улар — европеец необыкновенный, так как он полагает, что с китайцами нужно быть человечным и справедливым, говорит, что во всех провинциях необъятной империи развивается большое национальное движение.

— Если бы даже, — сказал Жозефин Леклерк, — победоносная Япония и помогла бы, монголам, китайцам и тибетцам осознать себя и добилась бы для них уважения со стороны белых, — каким образом это обеспечило бы мир всего мира, сдержало бы завоевательное безумие наций? Разве не осталось бы для истребления все черное человечество? Какому черному народу удалось бы добиться уважения белых и желтых для черных?

Но Николь Ланжелье возразил:

— Кто может наметить границы, где остановится одна из великих человеческих рас? В противоположность красным, черные не вымирают от соприкосновения с европейцами. Какой пророк возьмется возвестить двумстам миллионам африканского черного населения, что его потомству до скончания века так и не суждено господствовать в мире и благоденствии на озерах и больших реках. Белые люди уже пережили пещерный и свайный период. Они были тогда голы и дики. Они сушили на солнце грубые, глиняные горшки. Их вожди устраивали хороводы варварских плясок. Они не знали другой науки, кроме науки своих колдунов. С тех пор они выстроили Парфенон, придумали геометрию, подчинили закону гармонии выражение своих мыслей и движения своих тел.

Можете ли вы сказать африканским неграм: до скончания века ваши племена будут избивать друг друга и вы будете неизменно подвергать друг друга страшным и нелепыми казням, царь Глегла вечно будет во имя религиозных соображений бросать с крыши своей хижины пленников, связанных в корзине; вечно вы будете пожирать с наслаждением разложившееся мясо, оторванное вами от трупов ваших старых родителей; путешественники вечно будут стрелять в вас и подкуривать вас в ваших хижинах; гордые христианские солдаты вечно будут тешить свою храбрость, рассекая на куски ваших женщин, веселые моряки, приехавшие из туманных морей, вечно будут пробивать ногами животы ваших детей, чтобы размять ноги! Можете ли вы с уверенностью предсказать, что треть человечества всегда будет пребывать в неизменном унижении?

Я не знаю, случится ли когда-нибудь так, как в 1840 году предсказывала мистрис Бичер Стоу, — проснется ли когда-нибудь в Африке жизнь, по великолепию и роскоши не ведомая холодным расам Запада, и расцветут ли там новые и блестящие формы искусства? Черные живо чувствуют музыку. Возможно, что возникнет упоительное негритянское искусство танца и пения. Пока что, черные Южных Штатов делают быстрые успехи в пределах капиталистической цивилизации. Господин Жан Фино недавно еще рассказывал нам об этом.

Пятьдесят лет назад они не владели все вместе и сотней гектаров земли. Ныне стоимость их владений определяется более чем в четыре миллиарда франков. Они были неграмотными. Теперь пятьдесят на сто умеют писать и читать. Существуют черные романисты, черные поэты, черные экономисты, черные филантропы.

Метисы, происходящие от господ и рабов, особенно умны и крепки. Чернокожие, которые одновременно хитры и хищны, непосредственны и расчетливы, дождутся когда-нибудь (так говорил мне один из них) численного преимущества и покорят изнеженную расу креолов, столь легкомысленно простирающую на чернокожих свою лихорадочную жестокость. Может быть, уже родился тот гениальный мулат, который заставит потомков белых дорого заплатить

за кровь негров, казненных их отцами по суду Линча.

В это время господин Губэн надел пэнсне.

— Если бы японцы победили, — сказал он, — они отняли бы у нас Индо-Китай.

— Они бы оказали нам этим большую услугу, — возразил Ланжелье. — Колонии — бич народов.

Господин Губэн ответил на это только негодующим молчанием.

— Не выношу когда вы так говорите, — воскликнул Жозефин Леклерк, — нашим изделиям нужны рынки для распространения нашей промышленности, и торговле нужны территории. О чем вы думаете, Ланжелье? В Европе, в Америке, в мире осталась только одна политика — политика колониальная.

Николь Ланжелье продолжал спокойно:

— Колониальная политика — это наиболее современная форма варварства, или, если вам больше нравится, предел цивилизации. Я не делаю различия между этими выражениями: они тождественны. Люди называют цивилизацией существующее состояние нравов, а варварством — состояние предшествующее. Современные нравы назовут варварскими тогда, когда они сделаются нравами прошлого. Я охотно признаю, что соответственно нашей морали и нашим нравам сильные народы в праве уничтожать народы слабые. Таковы принципы прав человека и основы колониальной работы.

Но остается еще установить, всегда ли дальние завоевания полезны для нации? Как будто нет. Что дали Мексика и Перу Испании, Бразилия — Португалии, Батавия — Голландии? Существуют различные колонии. Существуют колонии, принимающие несчастных европейцев на бесплодную и пустынную почву... Такие колонии верны только, пока бедны, и отделяются от метрополии, как только разбогатеют. Существуют колонии, в которых европейцы не приживаются, но откуда вывозят сырье и куда ввозят товары. Очевидно, что эти последние обогащают не тех, кто управляет ими, но тех, кто торгует с ними. Они чаще всего не покрывают расходов на свое управление. И, кроме того, они ежеминутно подвергают метрополию риску военных разгромов.

Тут прервал его господин Губэн.

— А Англия?

— Англия не столько народ, сколько раса. У англосаксов одно отечество — море. И эта Англия, богатство которой принято измерять ее обширными владениями, на самом деле обязана своим благополучием и силой своей торговле. Следует завидовать не ее колониям, но ее купцам, которые создают ее благосостояние. И неужели вы думаете, что, например, Трансвааль выгодное для них предприятие? Все-таки при современном состоянии мира можно еще понять, когда народы, имеющие много детей и производящие много товаров, ищут далеких земель и рынков, захватывая их хитростью и насилием. Но мы? Но наш экономный народ, внимательно следящий за тем, чтобы детей было не больше, чем их в состоянии прокормить родная страна, умеренно производящий товары и неохотно пускающийся в дальние предприятия? Но Франция, никогда не выходящая за пределы своего сада, — что ей колонии? боже милосердный! Что ей с ними делать? Что они ей приносят? Она сорила и деньгами и людьми, чтобы Конго, Кохинхина, Аннам, Тонкин, Гвиана и Мадагаскар покупали ситец в Манчестере, оружие — в Бирмингеме и Льеже, водку — в Данциге и бордосские вина — в Гамбурге. В течение семидесяти лет она разоряла, преследовала, утесняла арабов, чтобы заселить Алжир итальянцами и испанцами.

В этих результатах заключается ирония достаточно жестокая, и трудно понять, как могло на наше несчастье образоваться это владение, в десять или одиннадцать раз больше самой Франции? Но нужно обратить внимание на то, что если французскому народу нисколько не выгодно владеть африканскими и азиатскими землями, то людям, стоящим во главе французского правительства, весьма прибыльно их приобретать для него. Они завоевывают таким путем расположение флота и армии, которые получают в колониальных экспедициях чины, пенсии и кресты, не считая славы, добываемой победой над врагами. Они приобретают расположение духовенства, открывая новые пути для папского министерства пропаганды и расширения территории для работы католических миссионеров. Они радуют арматоров, строителей, военных поставщиков, которых они заваливают заказами. Они создают себе во Франции обширную клику прихлебателей, сдавая в аренду необъятные леса и бесчисленные плантации. И — что для них еще более ценно — они прикрепляют к своему большинству всех дельцов и всех биржевых зайцев в парламенте. Наконец они льстят толпе, гордящейся тем, что, владея странами с черным и желтым населением, мы заставляем Германию и Англию зеленеть от зависти. Они слынут хорошими гражданами, патриотами и великими государственными людьми, и если иногда они рискуют пасть под влиянием военных неудач, как пал Ферри[21], они охотно идут навстречу этому, в убеждении, что самая гибельная из дальних экспедиций будет стоить им меньше хлопот и менее опасна, чем самая полезная социальная реформа.

Вы понимаете теперь, почему у нас бывали империалистично настроенные министры, стремившиеся во что бы то ни стало расширить наши колониальные владения. Мы должны еще радоваться и хвалить умеренность наших правительств, которые могли бы обременить нас еще большим числом колоний.

Но опасность еще не устранена, и нам угрожают еще семьдесят лет войны с Марокко. Неужели колониальное сумасшествие никогда не кончится?

Я отлично знаю, что народы неблагоразумны. Принимая во внимание их состав, было бы странно, если бы они были иными. Но инстинкт часто предупреждает их о том, что для них вредно. Иногда они способны и к наблюдениям. Они постепенно преодолевают мучительный опыт собственных ошибок и проступков. Когда-нибудь они поймут, что колонии являются для них источником опасности и причиной разорения. На смену коммерческого варварства придет коммерческая цивилизация, на смену насильственного проникновения — проникновение мирное. Теперь подобные идеи доходят даже до парламентов. Они возьмут верх не потому, что люди станут бескорыстнее, но потому, что лучше осознают свои собственные интересы.

Величайшая человеческая ценность, это — сам человек. Чтобы сделать более ценной жизнь на земном шаре, нужно предварительно поднять ценность человека. Чтобы эксплуатировать почву, руды, воды, все вещества и все силы планеты, — нужен человек, весь человек, человечество, все человечество. Полное использование земного шара требует комбинированной работы людей белых, желтых и черных. Искажая, уменьшая, ослабляя, одним словом, колонизируя часть вселенной, мы действуем против самих себя. Нам выгодно, чтобы желтые и черные были могущественными, свободными и богатыми. Наше благоденствие и богатство зависит от их богатства и благоденствия. Чем больше они станут производить, тем больше они будут потреблять. Чем больше они будут иметь выгод от нас, тем больше мы сможем иметь выгод от них. Пусть они щедро пользуются нашей работой, а мы воспользуемся от их избытка.

Наблюдая движения, руководящие человеческими обществами, может быть, заметят признаки того, что период насилий кончается. Война, бывшая прежде постоянным состоянием народов, теперь только имеет перемежающийся характер, и времена мирные стали гораздо более длительными, чем периоды войны. Наша страна дает повод к интересным наблюдениям. В военной истории народов французы обнаруживают особое свойство. В то время, как другие народы воевали исключительно из выгоды, или по

необходимости, французы дрались для собственного удовольствия, И замечательно то, что вкусы наших соотечественников изменились. Тридцать лет назад Ренан писал: «Всякий, кто знаком с Францией в целом, и с ее провинциальными отличиями, не задумываясь, должен будет признать, что движение, в течение полувека руководящее ею, носит в основе своей мирный характер». Фактом, подтвержденным большинством наблюдателей, является то обстоятельство, что Франция в 1870 году не хотела браться за оружие, и что объявление войны было встречено унынием. Несомненно, что в наши дни очень немногие французы думают о выступлении в поход, и все охотно соглашаются с мыслью, что армия существует для избежания войны. Я приведу один из тысячи примеров такого настроения, Господин Рибо, депутат, бывший министр, был приглашен на какое-то патриотическое празднество и красноречивым письмом отклонил приглашение, При одном только упоминании о разоружении, господин Рибо озабоченно морщит свой высокомерный лоб. К знаменам и пушкам он питает склонность, подобающую бывшему министру иностранных дел. В своем письме он объявляет мирные идеи, распространяемые социалистами, национальной опасностью. Он видит в них самоотречение, для него нетерпимое. Но это не потому, чаю он воинственен. От тоже хочет мира, но мира пышного, великолепного, блестящего и горделивого, как война. Между господином Рибо и Жоресом спор идет только о формах. Оба они миролюбивы. Жорес просто миролюбив, господин Рибо миролюбив спесиво. Вот и все. Непоправимый упадок идей реванша и завоеваний наблюдается не столько в социалистической демократии, довольствующейся простым, «блузным» и скруточным миром, сколько, и еще разительней, в настроении буржуазии, требующей мира, украшенного военными знаками и увешенного эмблемами славы; здесь можно уловить тот момент, когда военный инстинкт вырождается и становится мирным.

Франция мало-по-малу овладевает сознанием своей истинной силы, силы по существу интеллектуальной. Она сознает свою миссию, состоящую в том, чтобы сеять идеи и властвовать посредством разума. Она скоро поймет, что ее прочная и длительная мощь заключается в ее ораторах, философах, писателях и ученых. И поэтому ей придется признать когда-нибудь, что численная сила, предававшая ее столько раз, окончательно ускользает от нее, и что ей пора удовольствоваться той славой, которую ей обеспечивают умственный труд и работа мысли.

Жан Буайи покачал головой.

— Вы хотите, — сказал он, — чтобы Франция учила народы согласию и миру. А уверены ли вы в том, что ее послушают и за ней последуют? Обеспечено ли далее ее спокойствие? Не должна ли она опасаться угроз внешних, предвидеть опасности, быть на страже своей безопасности, предусматривать свою защиту? Одна ласточка не делает весны; одна нация не сделает мира народов. Разве можно быть уверенным, что Германия держит армию наготове только для того, чтобы не воевать? Ее социал-демократы хотят мира. Но они не господа положения, и их депутаты не обладают в парламенте авторитетом, соответствующим количеству их избирателей. А Россия, едва вступившая в промышленный период, — думаете ли вы, что она скоро вступит в свой мирный период? Думаете ли вы, что приведя уже в смятение Азию, она не приведет в смятение и Европу?

Но даже предполагая, что Европа становится миролюбивой, вы разве не видите, что Америка становится воинственной? После превращения Кубы в вассальную республику, после аннексии Гавайи, Порто-Рико, Филиппин уже нельзя отрицать, что Американские Штаты превратились в завоевательную нацию. Один американский публицист, Стэд, сказал при аплодисментах всех Соединенных Штатов: «Американизация мира на ходу». А господин Рузвельт мечтает водрузить звездное знамя над Южной Африкой, Австралией и Вест-Индией. Господин Рузвельт — империалист и хочет, чтобы Америка стала владычицей мира. На свое горе он читал Тита Ливия. Завоевания римлян не дают ему спать. Мигали ли вы его речи? Они воинственны. «Друзья мои, деритесь, — говорит господин Рузвельт, — деритесь отчаянно. Что хорошо на свете, так, это удары. Мы живем на земле для

истребления одних другими. Те, кто говорят противное, люди безнравственные. Не доверяйте мыслителям. Мысль изнеживает. Это — французский порок. Римляне завоевали мир. Они потеряли его. Мы — современные римляне». Красноречивые слова, подкрепленные военным флотом, который займет скоро второе место в мире, и военным бюджетом в миллиард пятьсот миллионов франков.

Янки заявляют, что через четыре года они будут воевать с Германией. Чтобы мы им поверили, нужно, чтобы они нам сказали, где они встретятся с неприятелем. Во всяком случае, над этим сумасшествием стоит призадуматься. То, что Россия, крепостная своего царя, и Германия, пока феодальная, откармливают армии для боев, можно еще пытаться объяснить старинными навыками и пережитками тяжелого прошлого. Но то, что молодая демократия — Американские Соединенные Штаты — ассоциация дельцов, толпа эмигрантов всех стран, не имеющих общности рас, традиций, воспоминаний, отчаянно бросившихся в борьбу за доллар, испытывает внезапное желание пускать торпеды в борты броненосцев и взрывать мины под неприятельскими войсками, — это доказывает, что беспорядочная борьба за производство и эксплуатацию богатств поддерживает использование грубой силы и пристрастие к ней, что промышленное насилие порождает насилие военное, что торговое соперничество разжигает в народах ненависть, и потушить ее можно только в крови. Колониальное безумие, о котором вы только что говорили, является одной из тысячи форм столь прославленной нашими экономистами конкуренции. Подобно феодальному государству, государство капиталистическое — государство военное. Открывается эра великих войн за промышленное первенство. При современном режиме националистического производства пушки будут устанавливать тарифы, таможи, открывать и закрывать рынки. Иного регулятора промышленности и торговли не существует. Истребление является роковым результатом экономических условий, в котором находится сейчас цивилизованный мир.

На столе благоухали горгонзола и страккино. Лакей принес свечи на проволоке для зажигания длинных сигар с соломинкой, любимых итальянцами.

Ипполит Дюфрея, казалось, отошедший от разговора, снова вмешался в него.

— Господа, — сказал он тихим голосом, в котором чувствовалась гордая скромность, — наш друг Ланжелье только что утверждал, что многие боятся потерять себя в глазах современников, приняв на себя ужасную безнравственность, какой является нравственность будущего. Я не боялся этого и написал маленький рассказ, единственное достоинство которого состоит, может быть в том, что он свидетельствует о спокойствии духа, с которым я рассматриваю будущее. Я попрошу у вас разрешения как-нибудь прочесть его вам.

— Прочтите его сейчас, — сказал Бони, зажигая сигару.

— Доставьте нам это удовольствием — прибавили Жозефин Леклерк, Николь Ланжелье и господин Губэн.

— Не знаю, при мне ли рукопись, — ответил Ипполит Дюфрен.

И, вынув из кармана сверток бумаги, он прочел следующее:

V

## СКВОЗЬ РОГОВЫЕ ВРАТА ИЛИ ВРАТА ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ[22]

Было около часу ночи. Перед тем, как лечь спать, я открыл окно и закурил папиросу. Шум автомобиля, проезжавшего по авеню Булевского леса, прорезал тишину. Деревья освежали

воздух, покачивая своими темными главами. Ни одного жужжания насекомых, ни одного живого звука не поднималось от бесплодной городской земли. Ночь была усыпана звездами. В прозрачном воздухе их огни казались более разнообразно окрашенными, чем в другие ночи, Большая часть из них горела белым светом. Но попадались между ними и желтые и оранжевые, как пламя угасающих ламп. Было несколько голубых. И я заметил одну, такого бледного, прозрачного и нежного цвета, что не мог отвести от нее глаз. Мне жаль, что я не знаю, как она называется, но я утешен мыслью, что люди не дают звездам их настоящих имен.

При мысли, что каждая из таких капель света освещает миры, я задаю себе вопрос: не освещают ли они, подобно нашему солнцу, бесчисленные страдания и не наполнены ли скорбью небесные бездны? Только по нашему миру мы можем судить об остальных. Мы знаем жизнь в тех формах, в какие она облечена на земле, и если предположить даже, что наша планета является одной из наименее лучших, у нас все же нет никакого основания предполагать, что на других все обстоит благополучно, и что родиться под лучами Алтаира, Бетельгейзе или же пламенного Сириуса — счастье, зная, сколь неприятная вещь — открыть глаза на земле при свете нашего старого солнца. Не то, чтобы я находил свою судьбу плохой по сравнению с судьбой других людей. У меня нет ни жены, ни ребенка. Я не болен и не влюблен. Я не слишком богат. Я не бываю в свете. Итак, я в числе счастливых. Но и у счастливых мало радости. Какова же участь других людей? Поистине люди достойны жалости! Не упрекаю в этом природу; с ней разговаривать не приходится, она ничего не погашает. Не стану винить и общество. Нет смысла противопоставлять общество природе. Противопоставлять человеческую природу человеческому обществу так же нелепо, как противопоставлять природу муравья обществу муравьев, или же природу селедки — обществу селедок. Общества животных являются необходимым следствием природы животных, Земля — планета, на которой едят, — планета голода. Животные на ней, естественно, жадны и свирепы. Единственное сознательное из них — человек — скуп. Скупость до сих пор является первой добродетелью человеческих обществ и шедевром природы в области морали. Умей я писать, я написал бы похвалу скупости. По правде сказать, такая книга не отличалась бы новизной. Моралисты и экономисты сто раз писали об этом. Человеческие общества имеют верховным началом скупость и жестокость.

Не происходит ли того же самого в других вселенных, в этих бесчисленных мирах эфира? Освещают ли людей все эти звезды, видимые мною? Бесконечно ли там едят и пожирают друг друга? Это подозрение смущает меня, и я не могу смотреть без ужаса на огненную росу, повисшую в небе.

Мало-по-малу мои мысли становятся мягче и отчетливей, и представление о жизни в сочувственности, то необузданной, то сладостной, возвращает мне ее привлекательность. Я говорю себе, что жизнь порою бывает прекрасна. Потому что без этой красоты как бы мы видели ее уродство, и возможно ли думать, что природа дурна, не думая в то же время, что она хороша?

Уже несколько минут, как фразы моцартовой сонаты развешивают в воздухе белые колонны и гирлянды из роз. У меня сосед — пианист, который по ночам играет Моцарта и Глюка. Я закрываю окно, занимаюсь туалетом, размышляю о тех непрочных удовольствиях, которые я смогу завтра доставить себе, к внезапно вспоминаю, что вот уже неделя, как я приглашен на завтрак в Булонский лес. Я смутно припоминаю, что это назначено, кажется, на следующий день. Чтобы в этом удостовериться, я разыскиваю пригласительное письмо, которое лежало распечатанным у меня на столе.

Вот оно:

«16 сентября 1908 года.



Старина Дюфрен! Сделай мне удовольствие, приходи позавтракать с... — и так далее и так далее — в будущую субботу, двадцать третьего сентября 1903 года» — и так далее и так далее.

Это — завтра.

Я позвонил своему слуге:

— Жан, вы разбудите меня завтра в девять.

И как раз завтра, двадцать третьего сентября, 1903 года мне исполнится тридцать девять лет. По всему тому, что я уже видел на этом свете, я приблизительно могу себе представить то, что я в нем еще увижу. Это, вероятно, будет зрелище посредственное. Я могу безошибочно предсказать завтрашние застольные разговоры в ресторане Булонского леса. Там, наверное, будет сказано: «Я делаю шестьдесят километров в час». — «У Бланш поганый характер, но она не изменяет мне, я в этом уверен». — «Министерство подхватило лозунг социалистов». — «Petits chievaux»[23] в большом количестве вещь нестерпимая». — «Единственное, что остается, — это баккара». — «Глупо было бы рабочим стесняться; правительство всегда на их стороне». — «Я держу пари, что Золотая Булавка побьет Ранавало». — «Нет, чего я не могу понять, — это, как не найдется генерала вымести всю эту сволочь?» — «Чего же вы еще хотите? Евреи продали Францию Англии и Германии».

Вот, что я услышу завтра. Вот политические и социальные идеи моих друзей, правнуков июльской буржуазии, князей фабрик и заводов, королей копеек, которые сумели обуздать и подчинить себе силу революции. Мои друзья не кажутся мне способными надолго удержать в своих руках промышленную власть и политическое могущество, унаследованное ими от предков. Они не очень умны, мои друзья. Они не слишком много работали головой. Я тоже. До сих пор я не много сделал в жизни. Я, подобно им, празднен и невежествен. Я чувствую, что ни к чему не способен, и если во мне нет их тщеславия, если мой мозг не начинен всем тем вздором, каким загроможден их, если во мне нет их ненависти и их боязни мысли, то это происходит от совершенно особого обстоятельства моей жизни. Отец мой, крупный промышленник и депутат-консерватор, когда мне было семнадцать лет, взял для меня молодого репетитора, застенчивого и молчаливого, похожего на девочку. Готовя меня к аттестату зрелости, он организовывал социальную революцию в Европе. Он был очаровательно кроток. Его много раз сажали в тюрьму. Сейчас он депутат. Я переписывал ему воззвания к международному пролетариату. Он заставил меня прочесть всю библиотеку социализма. Он научил меня вещам, из которых не все были правдоподобны, но он открыл мне глаза на окружающее; он доказал мне, что все, почитаемое в нашем обществе, достойно презрения, и что все, презираемое обществом, достойно уважения. Он толкал меня к бунту. Я же из его доказательств сделал вывод, что нужно уважать и чтить лицемерие, как два самых надежных устоя общественного порядка. Я остался консерватором. Но душа моя преисполнилась отвращения.

Пока я засыпаю, несколько едва уловимых фраз моцартовой музыки еще доносится порой до меня и наводят на мысли о мраморных храмах среди синей листвы.

День уже давно наступил, когда я проснулся. Я оделся гораздо скорее обыкновенного. Не понимая сам причины этой поспешности, я очутился на воздухе, сам не зная как. Все, что я увидал вокруг себя, настолько меня удивило, что приостановило все мои мыслительные способности. И только благодаря этой невозможности размышлять, мое удивление не усиливалось, но стало сосредоточенным и спокойным. Оно, несомненно, достигло бы скоро громадных размеров и превратилось бы в крайнее изумление и ужас, владей я своими умственными способностями, — до такой степени зрелище, бывшее у меня перед глазами, отличалось от того, чему полагалось быть. Все окружающее меня было мне ново, неведомо, чуждо. Деревья, лужайка, которые я видел изо дня в день, исчезли. Там, где вчера еще

возвышались высокие серые постройки проспекта, теперь тянулась прихотливая линия кирпичных домиков, окруженных садами. Я не посмел оглянуться, чтобы посмотреть, существует ли еще мой дом, и дошел прямо по направлению к воротам Дофина. Их я уже не нашел. На этом месте Булонский лес был превращен в деревню. Я пошел по улице, которая была, как мне казалось, прежней дорогой в Сюрэнь. Дома, стоявшие по сторонам, имели странный стиль и форму, они были слишком малы, чтобы служить жилищем богатым людям, но, тем не менее, были украшены живописью, скульптурой и яркими изразцами. Крытая терраса возвышалась над каждым домом. Я шел по этой сельской дороге, излучины; которой открывали очаровательные перспективы. Она пересекалась наискось другими извилистыми дорогами. Не было ни поездов, ни авто, ни каких бы то ни было экипажей. Тени пробегали по земле. Я поднял голову и увидел громадных птиц и гигантских рыб, во множестве быстро скользивших по воздуху, казавшемуся и небом и океаном.

У Сены, изменившей свое течение, я встретил целую компанию людей в коротких, завязанных у пояса, блузах и в высоких гетрах. Повидимому, они были в рабочем костюме. Но их походка была легче и щеголеватей походки наших рабочих. Я заметил, что среди них имелись и женщины. Различить их сразу мне помешало то, что они были одеты как мужчины, что у них были длинные и прямые ноги и, как мне показалось, узкие бедра наших американок. Хотя эти люди совсем не были страшны по виду, я смотрел на них со страхом. Они мне казались более чуждыми, чем кто бы то ни было из всех бесчисленных незнакомцев, каких я встречал до сих пор на земле. Чтобы не видеть больше человеческих лиц, я свернул в пустынный переулок. Вскоре я дошел до круглого газона, на котором с высоких мачт развевались красные знамена, где золотыми буквами было написано: «Европейская Федерация». У подножия этих мачт в больших рамах висели плакаты, украшенные мирными эмблемами. Это были объявления о народных празднествах, о государственных распоряжениях, о работах общественного значения. Там были и расписания воздушных шаров, и карта атмосферных течений, составленная на 28 июня 220 года Федерации Народов. Все эти тексты были напечатаны новым шрифтом и на таком языке, в котором я понимал не все слова. Пока я силился их разобрать, тени бесчисленных машин, пролетавших по воздуху, застилали мне глаза. Я еще раз поднял голову и в неузнаваемом небе, более населенном, чем земля, в небе, которое разрезали рули и били винты, к которому с горизонта поднимался дымный круг, я заметил солнце. При виде его мне захотелось плакать. Это был единственный знакомый образ, встреченный мною с утра. По его высоте я мог заключить, что было около десяти часов утра. Меня вдруг окружила новая толпа мужчин и женщин, которые не отличались от уже виденных мною ни манерами, ни костюмом. Подтвердилось мое первое впечатление, что женщины, хотя среди них и были очень толстые, и очень сухие, и многие, о которых нечего было сказать, имели по большей части вид андрогинный [24]. Эта волна прошла. Площадь внезапно опять опустела, как наши пригородные кварталы, которые только и оживляются, когда рабочие выходят из мастерских. Стоя перед афишами, я перечел число: 28 июня 220 года Европейской Федерации. Что это означало? Воззвание федеративного комитета по случаю праздника земли весьма кстати сообщило мне данные, очень полезные для понимания этой даты. Там говорилось: «Товарищи, вам известно, каким образом в последнем году XX века старый мир рухнул под ударами невиданного переворота, и как после пятидесяти лет анархии организовалась Федерация Европейских Народов...» Итак, 220 год Федерации Народов — это было 2770 год христианской эры — дело несомненное. Оставалось только его объяснить. Каким же образом я сразу оказался в 2770-ном году?

Думая об этом, я шел наудачу вперед.

— Насколько мне известно, — говорил я себе, — я не был законсервирован на столько лет в виде мумии, подобно полковнику Фугасу. Я не правил машиной, при помощи которой господин Г. Уэльс исследует время. И если я, по примеру Уильяма Морриса, перескочил три с половиной века во сне, я не могу этого знать, так как, когда спишь, не знаешь, что видишь

сон. Мне же самым честным образом кажется, что я не сплю.

В то время, как я размышлял (не стоит приводить других моих размышлений) я следовал по длинной улице, окаймленной решетками, за которыми сквозь зелень улыбались розовые домики разнообразных форм, но все такие же небольшие. Порой я замечал среди полей большие круглые стальные здания, увенчанные пламенем и дымом. Ужас парил над этими неизреченными областями, и воздух, трепетавший от быстрого полета машин, болезненно отдавался у меня в голове. Улица вела к лугу, усеянному группами деревьев и пересеченному ручьями. Там паслись коровы. Пока мои глаза наслаждались свежестью вида этой картины, мне показалось, что передо мной на гладкой и прямой дороге бегают тени. Ветер, шедший от них, ударил мимоходом меня в лицо. Я догадался, что это были трамваи и автомобили, прозрачные от скорости движения.

Я пересек дорогу по мосткам и долго брел еще по полям и рощам. Мне уже стало казаться, что я совсем в деревне, когда я вдруг увидел длинный ряд блестящих домов, окаймлявших парк. Вскоре я очутился перед дворцом легкой архитектуры. По обширному фасаду тянулся лепной и раскрашенный фриз, изображавший многолюдный пир. Сквозь застекленные проемы стен я увидел мужчин и женщин, сидевших в большом светлом зале за длинными, мраморными столами, уставленными красивым расписным фаянсом. Есть мне не хотелось, но я очень устал, и свежесть этого зала, украшенного гирляндами плодов, казалась мне восхитительной. Стоявший у дверей мужчина спросил у меня мою карточку. Но, заметив мой смущенный вид, он сказал:

— Я вижу, товарищ, что ты нездешний. Как же ты путешествуешь без карточки?.. Мне очень жаль, но мне тебя невозможно впустить. Пойди к делегату распределения рабсилы. Если ты неработоспособен, обратись к делегату социального обеспечения.

Я объявил, что я ни чуть не калека, и удалился. Какой-то толстый мужчина, выходявший еще с зубочисткой в зубах, любезно сказал мне:

— Товарищ, тебе вовсе незачем обращаться к делегату распределения — я делегат здешней районной булочной. Нам не хватает одного товарища. Пойдем со мной, ты сейчас же станешь на работу.

Я поблагодарил толстого товарища, заверив его о своей полной готовности, но указал, что я вовсе не булочник. Он взглянул на меня с некоторым удивлением, и сказал, что я, очевидно, большой шутник.

Я следовал за ним. Мы остановились перед огромным чугунным зданием с монументальной дверью, на фронте которого стояли, облокотившись, два бронзовых великана: сеятель и жнец. Их тела выражали силу, но без напряжения. На их лицах светилась спокойная гордость, и головы их были высоко подняты, чем они сильно отличались от диких работников фламандца Константина Менье. Мы проникли в зал высотой более сорока метров, где среди легкой белой пыли работали машины с далеко слышным и спокойным шумом. Под металлическим куполом мешки сами подставляли себя ножу, который их вспарывал; мука, высыпавшаяся из них, падала в квашни, где ее месили широкие стальные руки, а тесто текло в формы, которые, по заполнении, быстро сбегали в обширную печь, глубокую, как тоннель. Не более пяти-шести человек, неподвижных среди окружающего их движения, наблюдали за этой работой вещей.

— Это старая булочная, — сказал мой спутник. — Она выпускает едва-едва восемьдесят тысяч хлебов в день, ее машины слишком слабы и требуют слишком много народу. Ну, да это ничего. Поднимись в приемник.

Я не успел попросить более подробных приказаний. Подъемная машина отнесла меня на платформу. Едва я очутился на ней, как нечто в роде летящего кита опустилось рядом со

мной и выгрузило мешки. На этой машине не было ни одного живого существа. Я вполне уверен, что на этой машине не было машиниста. Затем прибыли новые летающие киты с новыми мешками, и мешки эти последовательно сами отдавали себя ножу, который их потрошил. Винты вращались, руль действовал. Никого не было у руля, никого в машине. Издали до меня доносился легкий звук полета осы, потом предмет начинал увеличиваться с изумительной быстротой. Он казался очень уверенным в себе, но полное мое неведение, что мне делать, если бы он все-таки вдруг ошибся, бросало меня в жар. У меня не раз являлось искушение попросить разрешения спуститься. Но человеческое чувство стыда меня удерживало, Я продолжал стоять на посту. Солнце склонилось к горизонту, и было уже около пяти часов, когда за мной прислали подъемник. Рабочий день кончился. Я получил жилищную и продовольственную карточку.

Толстый товарищ сказал мне:

— Ты, Должно быть, голоден. Хочешь, — можешь поужинать за общим столом. Хочешь, — можешь есть один у себя в комнате. Если ты предпочитаешь поесть у меня, вместе с несколькими товарищами, то скажи об этом сейчас же. Тогда я позвоню по телефону в кулинарную мастерскую, чтобы тебе прислали твою долю. Я говорю это, чтобы ты свободней себя чувствовал. Ты, видимо, растерялся. Ты, наверное, издалека приехал. Вид у тебя не дошлый. Сегодня тебе выпала легкая работа. Но не думай, что у нас всегда зарабатывают так легко. Если лучи «Z», которые управляли шарами, действовали бы плохо, как это иногда с ними случается, тебе бы пришлось с ними повозиться. Какая у тебя специальность? И откуда ты?

Все эти вопросы меня очень смутили. Я не мог сказать ему правды. Я не мог ему сказать, что я буржуа, и что я прибыл из XX века, — он счел бы меня сумасшедшим. Я ответил ему уклончиво и смущенно, что никакого общественного положения у меня нет, и что я прибыл издалека, очень издалека.

Он улыбнулся.

— Понимаю, — ответил он. — Ты не решаешься признаться. Ты приехал из Африканских Соединенных Штатов, и ты не первый европеец, который ускользнул от нас таким образом. Но эти дезиртиры почти все возвращаются к нам.

Я ничего не ответил. Мое молчание подтвердило его догадки.

Он еще раз повторил свое приглашение поужинать и спросил, как меня зовут. Я ответил, что меня зовут Ипполитом Дюфрен. Он, казалось, был удивлен, что у меня два имени.

— А я, — сказал он, — зовусь Мишелем.

Потом он внимательно осмотрел мою соломенную шляпу, пиджак, башмаки и весь мой костюм, несколько запыленный, но хорошего покроя, потому что ведь как-никак, а одеваюсь я не у какого-нибудь портного — швейцара с улицы Акаций.

— Ипполит, — сказал он мне, — я вижу, откуда ты, ты жил в черных провинциях. Теперь нет никого, кроме одних зулусов и бассутов, кто бы так скверно ткал сукно, давал костюму такой смешной покроей, или делал такую дрянную обувь и крахмалил белье. У них одних ты мог научиться брить бороду, сохраняя на лице усы и пару маленьких бакенбард. Обычай выстригать себе волосы на лице так, чтобы строить на нем всякие фигурки и украшения — одна из последних форм татуировки, — применяется только еще у бассутов и зулусов. Эти черные провинции Африканских Соединенных Штатов погрязают в варварстве, очень похожем на состояние Франции лет триста или четыреста тому назад.

— Я живу совсем близко отсюда, в Содонье, — сказал он мне. — Мой аэроплан идет не

плохо: доберемся живо.

Я принял приглашение Мишеля.

Он усадил меня под живот огромной механической птицы, и мы немедленно стали резать воздух с такой быстротой, что у меня дух захватило. Вид местности был совершенно не похож на то, что мне было знакомо. Вдоль всех дорог шли дома, в полях бесчисленные каналы перекрещивали свои серебряные полосы. Между тем как я любовался этим видом, Мишель сказал.

— Земля довольно хорошо использована, и земледелие, как говорится, ведется интенсивно с тех пор, как химики сами сделали земледельцами. За эти триста лет пришлось много изодраться и много работать. Ведь чтобы осуществить коллективизм, нужно было заставить землю приносить вчетверо или впятеро больше, чем она давала в эпоху капиталистической анархии. Ты вот жил среди зулусов и бассутов; ты знаешь, — у них продуктов жизненно необходимых так мало, что распределять поровну между всеми — значило бы распределять нищету, а не богатство. Избыточным производством, которого мы добились, мы обязаны главным образом успехам наук. Почти совершенное упразднение городских классов так же было очень благоприятно для земледелия. Лавочники и конторщики приблизительно равномерно распределились между заводом и деревней.

— Как, — воскликнул я, — вы уничтожили города? Что же случилось с Парижем?

— Там теперь никто и не живет, — ответил мне Мишель. — Большая часть этих пятиэтажных домов, нездоровых и безобразных, в которых квартировали горожане прошлой эры, развалилась и не была восстановлена. В XX веке этой несчастной эры строили прескверно. Мы сохранили постройки старинные и которые были получше, превратив их в музеи. У нас много музеев и библиотек: в них мы обучаемся. Сохранили мы также несколько обломков ратуши. Это было некрасивое и хрупкое строение, но в нем были совершены великие дела. Не имея ни судов, ни торговли, ни армии, мы не имеем и городов в точном смысле слова. Однако населенность в некоторых пунктах гуще, чем в других, и, несмотря на быстроту сообщения, металлургические и рудные центры населены до крайности.

— Что вы говорите? — спросил я. — Вы упразднили суды? Разве вы упразднили и злодеяния и преступления?

— Преступления будут существовать столько же времени, сколько прежде, мрачное человечество. Но число преступников уменьшилось вместе с числом несчастных. Предместья больших городов были питательной средой преступлений, у нас же нет больших городов. Беспроволочный телефон сделал дороги безопасными во всякое время. Мы все снабжены электрической обороной. Что же касается злоупотреблений, то они зависели не столько от развращенности обвиняемых, сколько от щепитательности судей. Теперь же, когда у нас нет ни судей, ни законников, и когда правосудие управляется гражданами, вызываемыми по очереди, многие злоупотребления: исчезли, очевидно, потому, что никто не умеет их распознавать.

Так говорил мне Мишель, ведя свой аэроплан. Смысл его речей я воспроизвожу по возможности точно. Я очень жалею, что по недостатку памяти, а также из боязни быть плохо понятым, а не могу воспроизвести всех выражений и в особенности самого движения его речи. Булочник и его современники говорили на языке, который поразил меня новизной своего словаря и синтаксиса, а в особенности сокращениями.

Мишель причалил к террасе дома средней величины, с виду очень приятного.

— Мы приехали, — сказал он, — здесь я живу. Ты поужинаешь с товарищами, которые, как и я, занимаются статистикой.

— Как, вы статистик? А я думал, что вы булочник.

— Шесть часов я булочник. Такова продолжительность рабочего дня, как ее около века назад установил федеративный комитет. В остальное время я занимаюсь статистикой. Эта паука заметила историю. Прежние историки пересказывали блистательные деяния небольшого количества людей. Наши регистрируют все, что производится и потребляется.

Проведя меня в гидротерапевтический кабинет, расположенный на крыше, Мишель показал, как спуститься в столовую, освещенную электрическим светом. Она была вся белая и украшалась только лепным фризом в виде земляники в цвету. Стол из цветного фаянса был уставлен посудой с металлическими отливами. За ним сидело трое, которых Мишель назвал мне: Морэн, Персеваль, Шерон.

Все трое были одинаково одеты в куртки из сурового полотна, короткие бархатные штаны и серые чулки. Морэн носил длинную бороду. Шерон и Персеваль имели чистые лица. Короткие волосы и, пожалуй, еще больше, откровенность их взгляда придавали им вид юношей. Но я не сомневался, что это женщины. Персеваль показалась мне довольно красивой, хотя она и была уже не очень молода. Шерон я нашел совершенно очаровательной. Мишель представил меня.

— Я вам привел товарища Ипполита, называемого также Дюфреном. Он жил среди метисов в черных провинциях Африканских Соединенных Штатов. Ему не удалось сегодня пообедать в одиннадцать часов. Поэтому он, должно быть, голоден.

Я был голоден. Мне подали маленькие кусочки, нарезанные четырехугольниками. Это было недурно, но вкуса я никак не мог разобрать. На столе были всевозможные сыры. Морэн налил мне легкого пива и предупредил, что я могу пить вволю, так как оно не содержит в себе алкоголя.

— В добрый час, — сказал я. — Я вижу, что вас заботит алкогольная опасность.

— Ее уже не существует, — ответил мне Морэн. — Алкоголизм удалось уничтожить еще до окончания истекшей эры. Без этого было бы невозможно установить новый порядок, Пролетариат, употребляющий алкоголь, не способен освободиться.

— Не усовершенствовали ли вы также и питание? — спросил я, пробуя причудливо вырезанный кусок.

— Товарищ, — ответила Персеваль, — ты, должно быть, имеешь в виду химическое питание. Успехи еще недостаточны. Напрасно мы командидуем наших химиков на кухни. Их пилюли никуда не годятся. За исключением того, что мы научились довольно сносно распределять дозы калорийных и питательных веществ, мы едим почти так же грубо, как ели люди прошлой эры, и испытываем от этого столько же удовольствия.

— Наши ученые — сказал Мишель, — пытаются ввести рациональное питание.

— Ну, это ребячество, — подхватила молодая Шерон. — Ничего путного не будет, пока не устранят толстой кишки — органа бесполезного и даже вредного, очаг микробного заражения. Но к этому придут.

— Каким образом? — спросил я.

— Да просто вырежут. И это уничтожение, сперва хирургически достигнутое у достаточного количества индивидуумов, станет закрепляться наследственностью, и со временем сделается свойством всей расы.

Эти люди обращались со зимой по-человечески и говорили предупредительно. Но я не легко

проникал в их нравы и в их мысли и замечал, что я не интересовал их ни в каком отношении, и что они испытывали совершенное безразличие к моему образу мыслей. Чем любезнее я с ними говорил, тем более ослабевала их симпатия ко мне. Когда я обратился к Шерон с какими-то комплиментами, хотя и вполне искренними и скромными, она даже перестала смотреть на меня.

После ужина, обратись к Морэну, который казался мне человеком умным и добрым, я сказал ему с искренностью, тронувшей меня самого:

— Господин Морэн, я не знаю ничего и жестоко страдаю от того, что ничего не знаю. Повторяю: я прибыл издалека. Скажите мне, пожалуйста, как была учреждена Европейская Федерация, и дайте мне понятие о существующем общественном строе.

Старый Морэн запротестовал.

— Да ты просишь рассказать тебе историю целых трех веков. Ведь этого хватит на недели и даже месяцы. И есть много таких вещей, что я не сумею тебе рассказать, потому что сам их не знаю.

Я стал его упрашивать дать мне, до крайней мере, общий обзор, какой дают детям в школе. Тогда Морэн откинулся в кресле и начал:

— Чтобы знать, как сложился существующий строй, надо подняться к очень давнему прошлому. Главным делом XX века настоящей эры было исчезновение войны.

Гаагский арбитражный конгресс, учрежденный в, разгар варварства, ничуть не содействовал поддержанию мира. Но другое, более действительное, учреждение создано в ту же эпоху. В парламентах различных государств образовались группы депутатов, которые вступили между собой в сношения и ввели обычай обсуждать сообща международные вопросы. Их решения, выражая миролюбивую волю все возрастающего большинства избирателей, приобрели большой авторитет и заставили задуматься правительства, из которых самые неограниченные, за исключением России, к тому времени уже приучились считаться с народным чувством. Нам кажется удивительным, что никто тогда не угадал в этих собраниях депутатов, явившихся из всех стран, первой попытки международного парламента.

Впрочем, партия насилия была еще очень могущественной и в империях и даже во французской республике. И если опасность династических войн и тех дипломатических войн, которые затевались за столами с зеленым сукном во имя поддержания так называемого европейского равновесия, была уже устранена навсегда, все же, в виду плохого состояния европейской промышленности, можно было опасаться, как бы конфликт торговых интересов не произвел какого-нибудь ужасного пожара.

Пролетариат, недостаточно организованный и еще не проникшийся сознанием своей силы, не мог воспрепятствовать вооруженным схваткам наций, но сделал их менее частыми и сократил их длительность.

Причиной последних войн было буйное помешательство старого света, именуемое колониальной политикой.

Англичане, русские, немцы, французы, американцы упорно оспаривали друг у друга то, что они называли «сферой влияния» в Азии и Африке — области, где они могли установить на основе грабежа и убийства экономические сношения с туземцами. Они разрушили в Азии и Африке все, что только можно было разрушить. Потом произошло то, что должно было произойти. Они сохранили бедные колонии, которые им стоили очень дорого, и лишились богатых колоний. Не считая того, что в Азии одни героический народец, получивший просвещение от Европы, заставил ее уважать себя. Такова была великая услуга, оказанная

человечеству Японией в варварские времена.

Когда этот отвратительный период колонизаций окончился, настал конец и войнам. Но государства еще содержали армии.

Теперь я изложу тебе, согласно твоему желанию, происхождение современного общества. Оно вошло из предшествовавшего. Формы порождают друг друга как в индивидуальной, так и в общественной жизни. Капиталистическое общество естественно породило коллективизм.

В начале XIX века истекшей ары в промышленности произошла достопамятная революция. Мелкое производство мелких ремесленников, собственников своих орудий производства, было вытеснено крупным производством, движимым новым фактором, обладавшим чудесной мощью — капиталом. Это было большим социальным прогрессом.

— Что именно было большим социальным прогрессом? — переспросил я.

— Капиталистический режим, — ответил Морэн. — Он принес человечеству неисчерпаемый источник богатства. Собирая рабочих большими массами и умножая их численность, он создал пролетариат. Создав из рабочих громадное государство в государстве, он подготовил их освобождение и дал им средства к завоеванию власти.

Однако строй, который должен был породить такие счастливые последствия в будущем, вызвал к себе справедливую ненависть рабочих, среди которых он создавал бесчисленное множество своих жертв.

Нет такого социального блага, которое не стоило бы крови и слез. А, впрочем, этот строй, обогативший всю землю, чуть было не довел ее до разорения. Чрезвычайно увеличив производство, он оказался неспособным его регулировать и отчаянно метался в неразрешимых затруднениях.

Тебе не безызвестны, товарищ, экономические смуты, заполнившие весь XX век. В течение ста последних лет владычества капитала беспорядочность производства и безумные конкуренции громоздили бедствия на бедствия. Капиталисты и хозяева тщетно пытались при помощи гигантских союзов упорядочить производство и искоренить конкуренцию. Их плохо продуманные начинания погибли среди огромных катастроф. В течение этого анархического периода классовая борьба была слепой и ужасной. Пролетариат, потерпевший урон и при своих победах и при своих поражениях, раздавленный обломками здания, которое он обрушил на свою же голову, раздираемый страшными междуусобиями, и слепой ярости отбрасывая ют себя своих лучших вождей и вернейших друзей, беспорядочно сражался во мраке. Тем не менее он непрестанно завоевывал себе то или иное преимущество: увеличение заработной платы, уменьшение рабочих часов, все возрастающую свободу организаций и пропаганды, общественные должности, сочувствие изумленного общества. Его считали погибшим вследствие раздоров и ошибок. Но все крупные партии страдают от раздоров и все делают ошибки. Пролетариат имел за собой силу вещей. К концу века он достиг степени благосостояния, которая позволяет достигать большего. Товарищ, партия должна иметь достаточно силы, чтобы сделать революцию в свою пользу. В конце XX века истекшей эры общее положение дел стало очень благоприятным для развития социализма. Постоянные армии, все более и более сокращаемые в течение столетия, после отчаянного сопротивления государственной власти и имущей буржуазии, были наконец, упразднены совсем палатами, созданными всеобщей подачей голосов под страстным давлением городского и сельского населения. Уже давно главы государства держали свои войска не столько для целей войны, которой они не опасались или не ждали, сколько для того, чтобы сдерживать пролетарские массы внутри страны. Наконец они уступили. Регулярные армии были заменены милицией, проникнутой социалистическими идеями. Сопrotивлялись не без причины. Монархии, уже не защищенные пушками и ружьями, пали одна за другой, и на их



место установился республиканский образ правления. Только Англия, заблаговременно установившая у себя порядок, который рабочие находили терпимым, да Россия, пребывавшая императорской и теократической, остались в стороне от этого крупного движения. Опасались, чтобы царь, питая к республиканской Европе те же чувства, какие Великая французская революция внушала Великой Екатерине, не поднял на нее своих армий. Но ее правительство опустилось до такой степени слабости и нелепости, какой достигают только в неограниченной монархии. Русский пролетариат, соединившись с интеллигенцией, восстал, и, после ряда ужасных покушений и резни, власть перешла к революционерам, установившим представительный строй.

Беспроволочный телефон и телеграф были тогда в употреблении во всех концах Европы, и пользование ими было общедоступно, так что самый бедный человек мог говорить, когда хотел и как хотел, с человеком, находящимся в любой точке земного шара. В Москве разливались рекой коллективистические речи, произносимые товарищами из Марселя или Берлина. Одновременно с этим в практику вошло приблизительно верное управление воздушными шарами и вполне точное управление летательными машинами. Это привело к упразднению границ. Самая критическая из всех минут! В сердцах народов, столь близких к соединению и слиянию в одно громадное человечество, проснулся патриотический инстинкт. Вспыхнувшее во всех странах одновременно национальное сознание сверкнуло молниями. Так как уже не было ни королей, ни армий, ни аристократии, движение это приняло характер беспорядочный и народный. Республики французская, немецкая, венгерская, румынская, итальянская, даже швейцарская и бельгийская единогласно, каждая у себя в своем парламенте, а также на громадных митингах, выносили торжественное решение защищать против всякого иностранного покушения национальную территорию и национальную промышленность. Были изданы энергичнейшие законы, воспреещающие контрабанду путем летающих машин и строго регламентировавшие пользование беспроволочным телеграфом. Милиция была везде переустроена по старому типу постоянных армий. Вновь появились прежние мундиры, высокие сапоги, доломаны и перья на генералах. В Париже аплодировали меховым шапкам гренадер. Все лавочки и часть рабочих нацепили трехцветные кокарды. Во всех металлургических центрах лили пушки и блиндажные плиты. Ожидали страшных войн. Этот безумный порыв продолжался три рода, но без столкновения, и постепенно затих. Милиция мало-по-малу вернулась к штатской внешности и соответственным чувствам. Соединение народов, отодвинутое, казалось, в баснословное будущее, стало близким. Мирные силы развивались день ото дня. Коллективисты мало-по-малу завоевывали общество, и пришел день, когда побежденные капиталисты предоставили им власть.

— Какая перемена! — воскликнул я. — В истории нет примера подобной революции.

— Но ты сам, товарищ, понимаешь, — продолжал Морэн, — что коллективизм настал не раньше, чем пробил его час.

Социалисты не смогли бы уничтожить капитал и частную собственность, не будь обе эти формы богатства уже наполовину разрушены усилием пролетариата, а еще более — развитием науки и промышленности.

Думали, что первым коллективистическим государством будет Германия. Там рабочая партия была организована уже около ста лет тому назад, и везде говорили; «Социализм — это дело немцев». Тем не менее Франция, хуже подготовленная, опередила ее. Социальная революция произошла сначала в Лионе, Лилле и Марселе под пение «Интернационала». Париж сопротивлялся две недели, и, наконец, поднял красное знамя. Только на следующий день Берлин провозгласил коллективистический строй. Торжество социализма имело своим последствием союз народов.

Делегаты всех европейских республик на заседании в Брюсселе провозгласили конституцию Европейских Соединенных Штатов.

Англия отказалась войти в их состав, но объявила себя их союзницей. Сделавшись страной социалистической, она все-таки сохранила своего короля, своих лордов и даже парики на своих судьях. Социализм господствовал в Океании, Австралии, Китае, Японии и в некоторой части обширной Российской республики. Черная Африка, вступившая к тому времени в фазу капитализма, представляла собою неоднородную федерацию. Американский союз тоже с некоторого времени отказался от своего меркантильного милитаризма.

Общее мировое состояние, таким образом, оказалось благоприятным для свободного развития Европейских Соединенных Штатов. Однако вслед за образованием этого союза, встреченного с неистовой радостью, целых пятьдесят лет прошло в экономических смутах и социальных бедствиях. Не было уже армии и почти не оставалось милиции. Народные движения, не подавляемые силой, протекали не бурно. Однако неопытность или злая воля местных правительств поддерживали разорительный беспорядок.

Через пятьдесят лет после образования Европейских Соединенных Штатов просчеты были так жестоки, трудности казались непреодолимыми до такой степени, что самые оптимистические умы начинали приходить в отчаяние. Глухой треск повсюду предвещал распад союза. Тогда диктатура Комитета, составленного из четырнадцати рабочих, положила конец анархии и организовала Федерацию Европейских Народов в том виде, в каком она существует и до сих пор. Одни говорят, что эти четырнадцать проявили гениальную способность предвидения и невероятную энергию. Другие же полагают, что это были люди посредственные, сами запуганные, подавленные необходимостью и независимо от своей воли руководившие немедленной организацией новых социальных сил.

Одно по крайней мере ясно: они не сопротивлялись естественному ходу вещей. Организация, которую они учредили, или при выработке которой они присутствовали, существует и теперь почти целиком. Производство и потребление продуктов происходит в настоящее время, за малой разницей, таким же образом, как было установлено тогда. Поэтому вполне справедливо, что от них и ведут начало новой эры.

Затем Морэн изложил мне вкратце основные положения современного общества.

— Оно основано, — сказал он, — на полном упразднении частной собственности.

— И это не тяготит вас? — спросил я.

— А почему, Ипполит, это должно тяготить? Некогда в Европе государства взимало подати. Оно располагало средствами, составлявшими его собственность. Теперь в одинаковой степени справедливо было бы сказать, что оно обладает всем и не обладает ничем. Еще справедливее было бы сказать, что нам принадлежит все, так как государство не отделимо от нас, и является только выражением коллектива.

— Но, — спросил я, — значит, у вас нет никакой частной собственности, даже тарелок, на которых вы едите, кроватей, простынь, одежды?

Морэн улыбнулся при этом вопросе.

— Ты еще наивнее, чем я думал, Ипполит! Как? Ты воображаешь, что нам не принадлежат домашние вещи? Что же ты думаешь о наших вкусах, инстинктах, потребностях и о нашем образе жизни? Уж не принимаешь ли ты нас за монахов, как говорили в старину, за людей, лишенных всякого индивидуального характера и неспособных наложить отпечаток на окружающее? Заблуждаешься, друг мой, заблуждаешься! Предметы личного пользования и предметы для нашего удовольствия принадлежат каждому лично, и мы к ним привязаны еще сильнее, чем буржуазия истекшей эры к своим безделушкам, так как у нас и вкус острее и более живо чувство формы. У всех наших товарищей, мало-мальски утонченных, имеются произведения искусства, и они их ревниво оберегают. У Шерон, например, есть картины,

которые ей доставляют большую радость, и она очень рассердилась бы, вздумай федеративный комитет оспаривать у нее право собственности на них. Вот у меня в том шкафу лежат старинные рисунки, почти полное собрание произведений Стейнлена, одного из самых прославленных художников прошлой эры. Я бы ни на что не променял их.

— Откуда ты свалился, Ипполит? Тебе говорят, что наше общество основано на полном упразднении частной собственности, а ты уже вообразил, что это упразднение простирается на движимость и предметы потребления. Нет, наивный ты человек, та частная собственность, которую мы полностью упразднили, это собственность на средства производства, землю, каналы, дороги, копи, материалы, оборудования и так далее. Но не право на лампу или кресло. То, что на самом деле мы уничтожили, — это возможность обращать в пользу одного человека или группы людей плоды труда, а не естественное и невинное обладание лично дорогими предметами, которые нас окружают.

Затем Морэн изложил мне, как умственный и физический труд распределяется между всеми членами общины, сообразно их способностям.

— Коллективный строй, — прибавил он, — отличается от капиталистического не только тем, что в нем все работают. В прошлую эру людей не работавших было много, но все же их было меньшинство. Наше общество особенно отличается от предшествующего тем, что в прежнем обществе труд не был упорядочен, и делалось очень много бесполезного. Рабочие производили без плана, без системы, без согласованности. В городах было множество чиновников, судей, купцов, приказчиков, которые работали, ничего не производя. К этому присоединялись солдаты. Плоды труда распределялись скверно. Таможни и пошлины, вводимые, чтобы помочь беде, лишь усиливали ее. Все страдали. Теперь же производство и потребление точно регламентированы. Наконец наше общество отличается от прежнего еще тем, что все мы пользуемся благодеяниями машин, применение которых в капиталистическую эпоху грозило разорением рабочих.

Я спросил, как стало возможным основать общество, состоящее из одних рабочих.

Морэн обратил мое внимание на то, что трудолюбие свойственно всякому человеку, и что это одна из существенных черт нашей расы.

— В варварские времена, вплоть до конца истекшей эры, аристократы и богачи всегда оказывали предпочтение физическому труду. Они редко и лишь в исключительных случаях упражняли свой интеллект. Такие занятия, как охота и война, где тело занято более, чем ум, приходились им всегда более по вкусу. Они ездили верхом, правили экипажами, фехтовали, стреляли из пистолета. Можно сказать, что они работали руками, но работа их была бесплодной или вредной, потому что предрассудок удерживал их от всякой полезной и плодотворней, работы, а также и потому, что в те времена полезный труд протекал обычно в унижительной и отталкивающей обстановке. Оказалось не слишком трудным вернуть труду его почетное место, и к нему приохотить всех. Люди варварских веков гордились ношением сабли и ружья. Люди нашего времени горды тем, что владеют лопатой и молотом. В человечестве есть черты, которые не меняются.

Когда Морей сказал мне, что забыли давно и думать о денежном обращении, я с изумлением спросил его:

— Как же вы производите свои торговые операции, не имея денежных знаков?

— Мы обмениваем продукты труда посредством бонов, в роде того, какой получил ты, товарищ, и которые соответствуют числу часов производимой нами работы. Ценность продуктов измеряется продолжительностью труда, которого они стоили. Хлеб, мясо, пиво, одежда, аэроплан стоят икс рабочих часов, икс рабочих дней. С каждого из этих выдаваемых нам бонов коллектив, или, как выражались в былое время, государство, удерживает

известное количество минут, чтобы обратить их на непроизводительный труд, на пищевые, металлургические запасы, дома для неработоспособных, больницы и так далее, и так далее.

— И число этих минут, — добавил Мишель, — постоянно возрастает. Федеративный комитет затевает слишком много крупных работ, которые таким образом падают на наш счет. Запасы слишком велики. Общественные склады переполнены всевозможными богатствами. Это спят наши трудовые минуты. Злоупотреблений еще не мало.

— Конечно, — продолжал Морэн, — можно было бы лучше устроить. Богатство Европы, увеличенное всеобщим планомерным трудом, огромно.

Мне было любопытно узнать, считалось ли у этих людей время единственным мерилom труда и одинаково ли расценивался у них рабочий день землекопа, штукатура, химика или хирурга? Я простосердечно спросил об этом.

— Вот глупый вопрос, — воскликнула Персеваль.

Но старый Морэн согласился разъяснить мне и это.

— Все исследования, все изыскания, все работы, которые имеют целью улучшение и украшение жизни, поощряются та наших мастерских и в наших лабораториях. Коллективное государство покровительствует высшему образованию. Изучать — значит производить, потому что без науки производить нельзя. Наука, наравне с работой, дает право на существование. Те, которые посвящают себя длительным и трудным исследованиям, тем самым получают право на мирное и почетное существование. Скульптор в две недели делает модель фигуры, но целых пять лет работал, чтобы научиться моделировать. И государство в течение пяти лет оплачивало эту будущую модель. Химик в течение нескольких часов открывает особые свойства какого-нибудь тела, но он потратил месяцы на то, чтобы выделить это тело, и годы на подготовку к выполнению такой задачи. В течение всего этого времени он жил за счет государства. Хирург в десять минут вырезает опухоль. Но это он делает только после пятнадцати лет ученья и практики, и, следовательно, целью пятнадцать лет он получает бонус от государства. Любой человек, отдающий в месяц, в час, в несколько минут результат труда всей своей жизни, отдает сразу обществу то, что он от него получал изо дня в день.

— Не говоря уже о том, что наши великие мыслители, — сказала Персеваль, — наши хирурги, наши женщины-ученые, наши химики прекрасно умеют пользоваться своими трудами и открытиями для того, чтобы непомерно увеличивать свое благосостояние. Они заставляют отдавать себе воздушные машины по шестьдесят лошадиных сил, дворцы, сады, обширнейшие парки. Это по большей части люди, которые крепко хватаются за блага жизни и ведут жизнь куда более блестящую и широкую, чем буржуа минувших времен. Самое худшее в них то, что среди них много таких дураков, которым место разве на мельнице, как Ипполиту.

Я поклонился. Мишель подтвердил слова Персеваля и стал горько жаловаться на готовность государства откармливать химиков за счет других работников.

Я спросил, не вызывает ли барышничество бонами повышения или понижения цен на них.

— Торговля бонами, — отвечал Морэн, — запрещена. Но в действительности устранить ее невозможно. У нас, как и в прежние времена, имеются скупцы и расточители, трудолюбивые и ленивые, богатые и бедные, счастливые и несчастные, довольные и недовольные. Но все они живут, и уже это одно кое-чего стоит.

Я задумался на минуту.

— На основании ваших слов, господин Морэн, приходится думать, что вы, насколько это возможно, осуществили равенство и братство. Но я боюсь, не достигнуто ли это в ущерб свободе, которую я привык любить, как главнейшее из благ.

Морэи пожал плечами.

— Мы не устанавливаем равенства. Мы не знаем, что это такое. Мы обеспечили жизнь каждого человека. Мы отвели почетное место труду. И если после этого каменщик считает себя выше поэта, или поэт выше каменщика, это — их дело. Все наши работники воображают, что их род труда самый важный в мире. В этом больше преимуществ, чем неудобств.

— Товарищ Ипполит, ты усердно читал, повидимому, книги девятнадцатого века истекшей эры, которых теперь никто не открывает: ты говоришь их языком, который стал нам чужим. Нам теперь не легко понять, как могли былые друзья народа избрать своим девизом: «Свобода, равенство, братство?» Свободы не может быть в обществе, потому что ее нет в природе. Свободных животных нет. Когда-то говорили про человека, что он свободен в том случае, когда повинуется только законам. Это было ребячеством. К тому же в последние времена капиталистической анархии слову «свобода» придавалось настолько отравное значение, что оно в конце концов стало исключительно обозначать требование возвращения привилегий. Идея равенства еще менее основательна, и вредна тем, что предполагает ложный идеал. Нам незачем доискиваться, равны ли люди между собой. Мы должны заботиться о том, чтобы каждый отдавал работе все, что он может дать, и получал все, в чем нуждается. Что же касается братства, то нам слишком хорошо известно, как братья обращались с братьями на протяжении веков. Мы не говорим, что люди злы, но мы и не говорим, что они добры. Они то, что есть. Но они живут в мире, когда у них нет повода к драке. У нас, чтобы выразить наш общественный строй, имеется только одно слово. Мы говорим, что находимся в состоянии гармонии. И несомненно, что в настоящее время все человеческие силы действуют согласованно.

— В те века, — сказал я ему, — которые вы зовете истекшей эрой, люди больше ценили обладание вещами, нежели пользование ими. Вы же, насколько я понимаю, наоборот, предпочитаете пользование обладанию. Но не тяжело ли вам оттого, что у вас нет имущества для передачи в наследство детям?

— А сколько человек, — горячо возразил Морэн, — оставляло детям наследство во времена капитализма? Один на тысячу, один на десять тысяч. Не говоря уже о том, что многие поколения совсем не знали права на свободное завещание. Как бы то ни было, передача состояния путем наследства была чем-то вполне понятным в те времена, когда существовала семья, Теперь же...

— Как, — воскликнул я, — вы не живете семьями?

Удивление, обнаруженное мной, показалось очень смешным товарищу Шерон.

— Мы знаем, правда, — сказала она, — что брак еще существует у кафров. Что же до нас, европейских женщин, то мы не даем никаких обещаний, а если и даем, то закон их не признает. Мы думаем, что вся судьба человеческого существа не может зависеть от одного слова. Есть, однако, некоторый пережиток обычаев истекшей эры. Когда женщина отдается, она клянется в верности рогами луны. В действительности же ни мужчины, ни женщины не берут на себя никаких обязательств. И нередко случается, что их союз длится всю жизнь. Но ни тот, ни другая не хотели бы пользоваться верностью, обеспеченной клятвой, а не физическим и нравственным соответствием. Мы никому ничем не обязаны. В былые времена мужчина доказывал женщине что она ему принадлежит. Мы не так глупы. Мы считаем, что человеческое существо принадлежит только себе. Мы отдаемся, когда хотим и: кому хотим.

К тому же мы не стыдимся уступать желанию. Мы не лицемерим. Каких-нибудь четыреста лет назад люди не имели понятия о физиологии, и это невежество бывало причиной больших заблуждений и жестоких неожиданностей. Ипполит, что бы ни говорили кафры, надо общество подчинить природе, а не природу обществу, как это делали слишком долго.

Персеваль подтвердила слова своей подруги.

— Чтобы показать тебе, насколько вопросы пола урегулированы в нашем обществе, — заметила она, — я скажу тебе, Ипполит, что на многих фабриках делегат распределения рабсилы даже не спрашивает, мужчина ты или женщина. Пол данного лица несколько не интересуется обществом.

— А дети?

— Что же дети?

— Разве они не заброшены, если у них нет семьи?

— Откуда у тебя могла взяться такая мысль? Материнская любовь — инстинкт, очень сильно развитый в женщине. В ужасном прежнем обществе было много матерей, открыто выносивших нужду и позор, только бы воспитать своих незаконных детей. Почему же нашим женщинам, свободным от нужды и позора, бросать своих детей? Среди нас много хороших подруг, много и хороших матерей. Но имеется большое и все возрастающее число женщин, которые обходятся без мужчины.

Шерон сделала по этому поводу несколько странное замечание.

— Мы имеем, — сказала она, — о сексуальных характерах такие сведения, каких и не подозревала варварская простота людей истекшей эры. Из того, что есть два пола, и что их только два, выводились ложные заключения. Воображали, что женщина только женщина, а мужчина только мужчина. На деле не так. Есть женщины, в которых много женского, а есть женщины, в которых его мало. Эта различия, скрывающиеся костюмом, образом жизни и замаскированные в прежнее время предрассудками, в нашем обществе видны совершенно ясно. Мало того, они обозначаются все ясней и становятся с каждым поколением все ощутимее. С тех пор, как женщины работают как мужчины, действуют и думают, как мужчины, — среди них видно все большее количество похожих на мужчин. Может быть, мы дойдем когда-нибудь до того, что создадим людей среднего пола, «работниц», как говорят о пчелах. Это будет очень выгодно. Можно будет повысить интенсивность труда, не увеличивая населения до степени, несоответствующей количеству необходимых благ. Нам в равной мере страшен как дефицит, так и избыток рождений.

Я поблагодарил Персеваль и Шерон за то, что они так любезно осведомили меня о таком интересном предмете, и спросил, не пренебрегают ли в коллективистическом обществе образованием, существуют ли еще умозрительная наука и свободные искусства?

Вот что мне ответил на это старик Морэн.

— Образование очень развито во всех областях. Все товарищи что-нибудь да знают. Но все они знают не одно и то же и не учились ничему бесполезному. Никто больше не тратит время на изучение права и богословия. Каждый выбирает из наук и искусств то, что ему по нраву. У нас еще много древних сочинений, хотя большая часть книг, напечатанных, до новой эры, погибла. Книги продолжают печатать, их печатают больше, чем когда-либо. Тем не менее печать близка к исчезновению. Ее заменит фонограф. Поэты и романисты уже издаются фонографически. А для издания театральных пьес изобрели очень остроумную комбинацию фоно- и кинематографа, которые воспроизводят одновременно игру и голоса актеров.

— У вас есть поэты, драматурги?

— Мы не только имеем поэтов, у нас есть поэзия. Мы первые отграничили область поэзии. До нас в стихах выражались многие мысли, которые лучше могли быть выражены прозой. Писались рифмованные рассказы. Это было пережитком того времени, когда размеренным слогом излагали законодательные постановления и, рецепты сельского хозяйства. Теперь же поэты говорят только тонкие вещи, не имеющие смысла. У каждого своя собственная грамматика и язык, так же, как и ритм, ассонансы и аллитерации. Что же касается нашего театра, то он почти исключительно оперный. Точное знание действительности и жизнь, лишенная насилий, почти сделали нас равнодушными к драме и трагедии. Объединение классов и уравнивание полов лишили прежнюю комедию почти всякого материала. Но музыка никогда не была ни такой прекрасной, ни так любимой. Мы особенно восхищаемся сонатой и симфонией.

Наше общество очень благоприятно для изобразительных искусств. Многие предрассудки, вредившие живописи, исчезли. Наша жизнь светлее и прекраснее жизни буржуазной, и у нас живее чувство формы. Скульптура процвела еще больше, чем живопись, с тех пор, как она благоразумно обратилась на украшение общественных дворцов и частных жилищ. Никогда еще не делалось столько для обучения искусствам. Если ты только в течении нескольких минут проведешь свой аэроплан над любой из наших улиц, ты удивишься количеству школ и музеев.

— Итак, — спросил я, — вы счастливы?

Морэн покачал головой.

— Человеческой природе не свойственно наслаждаться совершенным счастьем. Без усилия нельзя быть счастливым, а всякое усилие предполагает в себе усталость и страдание. Мы сделали жизнь для всех сносной. Это уже нечто. Наши потомки сделают больше. Наша организация не должна оставаться неподвижной. Пятьдесят лет назад она не была такой, как теперь. И тонкие наблюдатели уже начинают замечать, что мы подходим к большим переменам. Возможно. Но завоевания человеческой цивилизации будут совершаться отныне мирно и гармонично.

— А не опасаетесь ли вы обратного, — спросил я, — а именно, что вся эта цивилизация, которой, повидимому, вы так довольны, будет разрушена нашествием варваров? В Азии и Африке, по вашим словам, остались еще великие народы черной и желтой расы, которые не вошли в ваш союз. У них есть армии, а у вас их нет. Если они на вас нападут...

— Наша защита обеспечена. С нами бороться могли бы только американцы и австралийцы, потому что они знают столько же, сколько и мы. Но нас разделяет океан, а общность интересов обеспечивает нам их дружбу. Что же до негритянских капиталистов, то они все еще остаются при стальных пушках, огнестрельном оружии, при всем железном старье двадцатого века.

— Что смогли бы эти старинные снаряды сделать хотя бы против одного разряда игрек-лучей? Наши границы защищены электричеством. Вокруг федерации простирается целая зона молний. Где-то сидит человек в очках перед клавиатурой. Это наш единственный солдат. Стоит ему только коснуться одним пальцем клавиша, чтобы стереть в порошок пятисоттысячную армию.

Морэн колебался несколько мгновений. Потом он продолжал более медленно.

— Если что-нибудь может угрожать нашей цивилизации, то враги не внешние, а скорее внутренние.

— Значит, они есть все-таки?

— Есть анархисты. Их много, они пылки, умны. Наши химики, профессора естественных и гуманитарных наук почти сплошь анархисты. Большую часть зол, от которых еще страдает общество, они приписывают регламентации труда и продукции... Они считают, что человечество будет счастливо только в состоянии самовозникнувшей гармонии, которая родится из полного разрушения цивилизации. Они опасны. Они были бы еще опаснее, вздумай мы их притеснять. Для этого у нас нет ни желания, ни средств. У нас нет власти для принуждения и репрессии, и мы не жалеем об этом. Во времена варварства люди создавали себе великие иллюзии относительно целесообразности наказаний. Наши отцы уничтожили весь юридический аппарат. Он им был уже не нужен. Уничтожив частную собственность, они заодно уничтожили воровство и мошенничество. С тех пор, как мы носим электрические предохранители, уже не приходится опасаться покушения на жизнь. Человек стал уважать человека. Бывают еще преступления только под влиянием страстей и будут всегда. Однакоже преступления такого рода, хотя остаются безнаказанными, но делаются все более редкими. Наше судебное сословие состоит из выборных уважаемых граждан, которые безвозмездно разбирают различные нарушения и споры.

Я встал и, поблагодарив моих товарищей за их дружелюбное отношение, попросил у Морэна любезного разрешения задавать ему последний вопрос.

— У вас больше нет религии?

— Напротив, религий у нас очень много, и некоторые из них довольно недавнего происхождения. В одной Франции есть религия человечества, позитивизм, христианство и спиритизм. В некоторых странах остались еще католики, но в очень малом числе. К тому же они разделены на множество сект вследствие расколов, которые произошли в двадцатом веке, когда церковь отделилась от государства. Папы уже нет давно.

— Ты ошибаешься, — сказал Мишель, — есть еще папа. Я случайно узнал. Он Пий XXV, красильщик на Виа-дель-Орсо в Риме.

— Как, — воскликнул я, — папа — красильщик?

— Что же тут удивительного? Нужно и ему ремесло — чем он хуже других?

— А его церковь?

— В Европе его признают несколько тысяч человек.

На этих словах мы расстались. Мишель сказал мне, что я найду помещение поблизости, и что Шерон меня туда проводит по дороге домой.

Ночь светилась опаловым блеском, пронизывающим и мягким. Листва казалась при нем эмалевой. Я шел рядом с Шерон.

Я наблюдал за ней. Обувь ее, не имевшая каблучков, придавала твердость ее походке, устойчивость телу; хотя ее мужское платье делало ее ниже и она шла, заложив одну руку в карман, ее простая осанка не была лишена достоинства. Она свободно оглядывалась вправо и влево. В ней, — в первой женщине, я заметил выражение спокойного любопытства и удовольствия от бесцельной прогулки. Под беретом черты ее лица казались тонкими и выразительными. Она меня раздражала и очаровывала. Я боялся, как бы она не нашла меня глупым и смешным. Во всяком случае было ясно, что я внушаю ей полнейшее равнодушие. Тем не менее она вдруг меня спросила, чем я занимаюсь. Я ответил ей наугад, что я электротехник.



— Я тоже, — сказала она.

Я благоразумно прервал разговор.

Неслыханные звуки наполняли ночной воздух спокойным и мирным шумом, и я с ужасом прислушивался к ним, как к дыханию чудовищного гения этого нового мира.

Чем больше я наблюдал ее, тем большее влечение я ощущал к юной электротехничке, обостренное какой-то антипатией к ней.

— Итак, — сказал я ей вдруг, — вы научно определили любовь, и теперь это дело уже никого не волнует.

— Ты ошибаешься, — ответила она мне. — Без сомнения, мы отошли от глупостей прошлой эры, и область человеческой физиологии полностью освобождена от законодательного варварства и богословских ужасов. Мы не создаем ни ложных и жестоких понятий, ни долга. Но законы, управляющие влечением тела к телу, для нас остаются таинственными. Гений рода остался таким же, каким был и будет всегда: пылким и капризным. Теперь, как и в старину, инстинкт сильнее разума. Наше преимущество перед древними не в том, что мы знаем это, а в том, что мы в этом признаемся. В нас живет сила, способная создавать миры, — желание, а ты хочешь, чтобы мы могли его регулировать. Ты хочешь от нас слишком много. Мы уже не варвары, но мы еще не мудрецы. Общество совершенно не вмещивается в отношения между полами. Эти отношения таковы, какими могут быть: терпимы чаще всего, изредка прелестны, порой ужасны. Но не думай, товарищ, будто любовь уже никого не волнуют.

Я был не в состоянии обсуждать столь странные мысли. Я перевел разговор на характер женщин. Шерон сказала мне, между прочим, что они бывают трех родов: влюбчивые, любопытные и равнодушные. Я спросил ее, к какому же роду принадлежит она сама.

Она взглянула на меня несколько высокомерно и сказала:

— Мужчины бывают тоже нескольких родов: во-первых, — нахалы...

Эти слова показали мне ее гораздо больше моей современницей, чем это казалось до сих пор. И потому я заговорил с ней языком, привычным для меня в подобных случаях. После нескольких фраз, пустых и легкомысленных, я спросил ее:

— Хотите оказать мне одну милость? Скажите мне ваше имя.

— Такого у меня нет.

Должно быть, она заметила, что мне это не понравилось, так как прибавила несколько обиженным тоном:

— По-твоему, женщина может нравиться только, когда у нее, как у старинных дам, имя святой: Маргарита, Тереза, Жанна?

— Вы мне доказываете обратное.

Я искал ее взгляда, и не находил его. Казалось, она меня не слышала. Сомнений не было: она кокетничала. Я был в восторге. Я сказал ей, что она прелестна, что я люблю ее, и повторил ей это несколько раз. Она дала мне наговориться вволю и потом спросила:

— Что это значит?

Я стал решительнее.

Она меня упрекнула за это.

— У вас манеры дикаря.

— Я вам не нравлюсь?

— Я этого не сказала.

— Шерон, Шерон, неужели вам было бы трудно...

Мы сели на скамью, осененную вязом. Я взял ее руку, поднес к губам... Вдруг я перестал видеть, перестал чувствовать и оказался лежащим; у себя в постели. Я протер глаза, ослепленные утренним светом, и узнал своего лакея, который, стоя передо мной, твердил с идиотским видом:

— Уже девять часов, сударь. Вы приказали мне разбудить вас в девять. Я пришел сказать вам, сударь, что девять уже пробило.

## VI

Когда Ипполит Дюфрен кончил читать, его друзья выразили ему соответственное одобрение.

Николь Ланжелье сказал, применяя к нему слова Крита я Триефону.

— Ты спал, как будто на белом камне, среди призрачного народа, потому что такой длинный сон приснился тебе в течение одной короткой ночи.

— Мало вероятно, — сказал Жозефин Леклерк, — что будущее таково, каким его видели вы. Я не желаю наступления социализма, но и не боюсь его. Коллективизм, находясь у власти, будет совсем иным, чем мы его воображаем. Кто это сказал, мысленно возвращаясь к временам Константина и первых побед церкви: «Христианство торжествует. Но торжествует оно на условиях, которые жизнь ставит всем политическим и религиозным партиям. Все они, какими бы они ни были, испытывают такие коренные изменения в процессе борьбы, что после победы от них уже не остается ничего, кроме имени и нескольких символов их утраченной мысли».

— Значит, надо отказаться от познания будущего? — спросил Губэн.

Джиакомо Бони, который, прокопав несколько футов земли, спустился от современной эпохи в каменный век, сказал:

— В общем человечество мало изменяется. Будет то, что было.

— Конечно, — сказал Жан Буайи, — человек, или то, что мы называем человеком, изменяется мало. Мы принадлежим к определенному виду. Эволюция вида неизбежно включена в самое определение вида. Она не содержит бесконечных превращений. Мы не можем представить себе человечество после его превращения. Вид превращенный — вид уже исчезнувший. Но на каком основании мы так убеждены, что человек является завершением жизненной эволюции на земле? Почему предполагать, что его рождение исчерпало все творческие силы природы, и что всеобщая мать флор и фаун, сотворив его, навеки пребудет бесплодной? Философ-натуралист, который не боится собственной мысли, Уэльс, сказал: «Человек еще не конец». Нет, человек не является ни основой, ни целью земной жизни. До него на земном шаре живые существа размножились на дне морей, в иле

отмелей, в лесах, в озерах, на лугах и на мохнатых горах, новые существа будут еще развиваться и после него. Грядущая раса, может быть, произойдет ют нашей, а может быть, не будучи даже и связана с нами в своем происхождении, станет преемницей нашего господства над планетой. Эти новые гении земли или не будут и знать о нас, или станут презирать нас. Памятники наших искусств, открой они даже их обломки, будут для них лишены всякого смысла.

Это будут такие повелители будущего, разумность которых мы способны предвидеть не больше, чем палеопитек Сивальских гор мог предчувствовать мысль Аристотеля, Ньютона и Пуанкаре.

Перевод с французского И. А. АКСЕНОВА

## Примечания

1

У римлян, обычно, небольшая колонна без капители, на которой высекалась надпись в память события или лица. (Прим. ред.)

2

Рутулы — одно из племен древнего Лациума (в Италии). (Прим. ред.)

3

То-есть и метафизикой. (Прим. ред.)

4

Иеродулы — рабы при храмах.

5

Гимнастические залы. (Прим. ред.)

6

Древний патрицианский род. (Прим. ред.)

7

Клавдий (император 41–54 гг.) был сначала женат на Мессалине потом на Агриппине младшей, дочери Германика; это был ее третий брак: от первого брака у нее был сын Нерон; она заставила старика Клавдия усыновить его, а затем отравила Клавдия. (Прим. ред.)

8

Пример дружбы до смерти, описанной Вергилием в 9-й книге Энеиды. (Прим. ред.)

9

Британника, сына Мессалины, которого Нерон впоследствии отравил. (Прим. ред.)

10

Настоящий дорический стиль не допускал применения базы у колонн. (Прим. ред.)

11

По-гречески — воскресение. (Прим. ред.)

12

Матери девяти богов — Кибеле (Прим. ред.)

13

Ликторы, сопровождавшие сначала римских царей, затем консулов, носили на плече связку перевязанных красным ремнем прутьев, из которых торчал топор, как знак высшей власти, права суда и наказания. (Прим. ред.)

14

Кней Кальпурний Пизон главный участник заговора против Нерона. Когда заговор был открыт, тоже покончил жизнь самоубийством, вскрыв себе вены. (Прим. ред.)

15

Отступники.

16

Пророк. (Прим. ред.)

17

«Римский мир»

18

Китая. (Прим. ред.)

19

То-есть имеют челюсти, выступающие вперед.

20

Раса, имеющая череп сравнительно мало вытянутый в длину по отношению к ширине. Теория принадлежности современных народов к той или другой расе на основании этих признаков достаточно проблематична. (Прим. ред.)

21

Юлий Ферри — государственный деятель, поборник присоединения Туниса и Тонкина. (Прим. ред.)

22

Отсылка к «Одиссее»:

Двое разных ворот для безжизненных снов существует.

Все из рога одни, другие — из кости слоновой.

Те, что летят из ворот полированной кости слоновой,

Истину лишь заслоняют и сердце людское морочат;

Те, что из гладких ворот роговых вылетают наружу,

Те роковыми бывают, и все в них свершается точно.

(Песнь 19, перевод В. Вересаева)

(Прим. верстальщика).

23

Азартная игра (Прим. перев.)

24

Т.е. двуполых людей. (Прим. перев.)